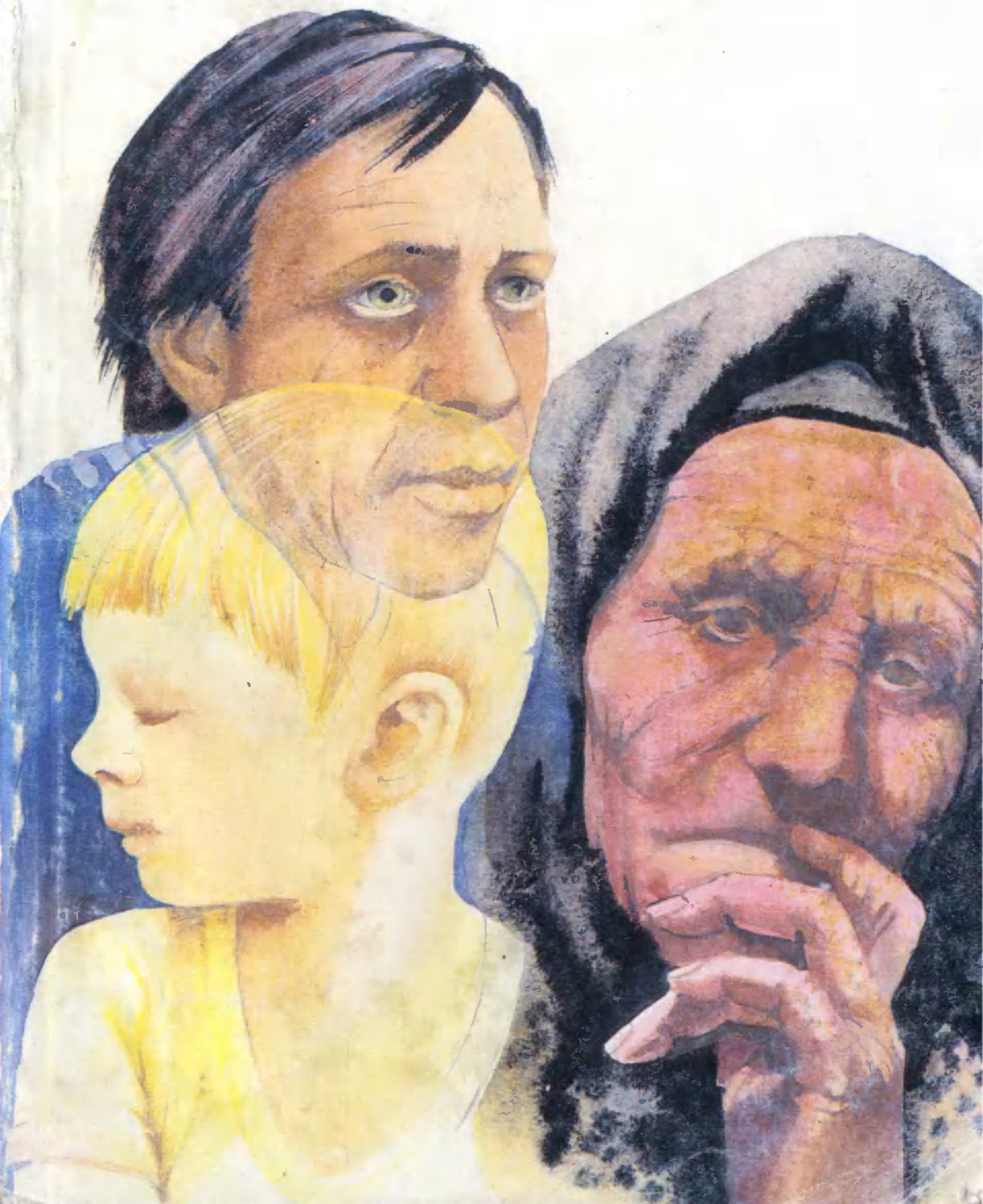


ВАСИЛ ПОПОВ

ББ

ВЕЧНЫЕ ВРЕМЕНА



ВАСИЛ ТОПОВ

---

ВЕЧНЫЕ ВРЕМЕНА



# БИБЛИОТЕКА „БОЛГАРИЯ“

© Васил Попов, 1989

© Кира Козовская, перевод с болгарского

© Жеко Алексиев, художественное оформление

© Текла Алексиева, художник

c/o Jusautor, Sofia

ВАСИЛ ПОПОВ

# ВЕЧНЫЕ ВРЕМЕНА

Рассказы

СОФИЯ ПРЕСС

1989

## ТРИ БОЧКИ

Мимо Оглобли пронесся поезд. В просветах между вагонами промелькнули вдали два округлых холма, припорошенных снегом. Оглобля стоял на дороге рядом с волами, согревавшими его своим дыханием. Схватившись, снова сел на телегу и дернул за вожжи: надо было ехать на виноградник за тремя бочками. С телеги он видел перед собой две воловьих спины, равномерно поднимавшиеся и опускавшиеся в такт широкому спокойному шагу животных, напоминающие округлые возвышенности, покрытые скудной растительностью. Перестук вагонных колес еще отдавался в его сердце, звучал в громохании телеги, продвигавшейся вперед вслед за облачками пара, вырывающегося из ноздрей волов.

И едучи так, прислонившись к борту телеги и покачиваясь, Оглобля вдруг ощутил в себе перемену. Ему показалось, что еще минуту назад все было по-другому, потому что он ни о чем не думал. Сейчас на него неожиданно налетели мысли, тревожные и быстрые, как молнии, — мысли о срубленных деревьях и сдохших собаках. Много деревьев срубил он в лесу, много бревен привез в село. Много собак было у него, и многие сдохли. Теперь уже нет ни леса, ни собак — от него требуется всего лишь привезти с виноградника три бочки, а потом пойти домой.

— А на кой мне эти собаки? — спросил он вслух, и волы его слышали. — И на кой ляд эти деревья? И вов-

се они мне не нужны. Летом купил я четыре кубометра дров по двенадцать левов кубометр, положил в сухой сарай – вот и вся забота. О чем это я затужил?

Но перед его глазами стояли деревья. Стояли на тех лугах, где испокон веку росла только кукуруза, куда река по весне выплескивала мутные воды, чтобы затем снова вернуться в свое русло меж холмов, а крестьяне приходили после ее ухода и выпрямляли кукурузные стебли, копали новые ямки и ловили рыбу в низинах, где еще стояла вода. Сейчас вместо кукурузы на покрытых снегом заливных лугах росли деревья, и, проезжая мимо них на телеге, Оглобля различал их совсем ясно. Он протер глаза: деревья были на месте. Его лес спустился сюда с гор и выстроился по обеим сторонам дороги. Оглобля соскочил с телеги, оставив волов идти без возницы, и принялся ощупывать стволы, покрытые шершавой бугристой корой. С северной стороны пни поросли зеленым пушистым мхом. Нагнувшись, Оглобля погладил мох, вздохнул – и тут вдруг лес исчез, а он вновь сидел в тряской телеге, прислонившись к ее борту. Волы ступали медленно и плавно, телега дребезжала, когда колеса преодолевали замерзшие камни на дороге.

Оглобля не удивился исчезновению леса: он привык к тому, что леса уже давно нет. Он не удивился и при виде собак, которые вдруг побежали за телегой. Он знал, что они появятся, как появлялись не раз в его сновидениях, а ведь всякий сон – это все равно что поездка на телеге куда-то. Они прибежали к нему, лая каждая по-своему, – веселые и злые, с задранными хвостами, с одинаково восторженными и покорными взглядами, устремленными на него, гордые и смелые собаки всевозможных пород – от пастушьих овчарок с острыми ушами и серовато-рыжеватой шерстью, за которыми

он ходил высоко в горы, до упрямых малорослых псов со звездочкой на лбу и короткими лапками, серыми от дорожной пыли. Сейчас они неслись стаей за ним. Оглобля снова и снова их пересчитывал, вспоминал связанные с ними случаи и события, их лай, манеру бегать, нрав, а они следовали молча за телегой одинаковой трусцой и с одинаково застывшим взглядом, не вызывая в памяти никаких случаев и событий.

Оглобля не удивился, когда вслед за собаками появились и его односельчане с топорами и мотыгами, корзинками с провизией, но он не стал их спрашивать, куда они направляются, как сделал бы в другой раз, потому что прекрасно понимал, что они идут к нему, за ним и с ним на виноградник, где ему надо погрузить на телегу три бочки, побелевшие от медного купороса.

Потом они тоже исчезли, как до этого исчезли лес и собаки. Оглобля опять не удивился, лишь закашлялся и поднял выше воротник овчинного полушубка. Волы ступали по дороге осторожно, как по льду.

– Ну и пускай уходят, – произнес вслух Оглобля, и волы опять услышали его слова. – Пусть уходят и люди, и собаки, и деревья. Нно-о! Нно-о!

Волы ускорили шаг, но скоро снова пошли медленно и лениво, как и прежде, словно понимая, что он по-нукал их просто так, по привычке, а не из-за необходимости спешить. Они не знали, куда идут, просто вдыхали холодный воздух, а выдыхали теплый. Дорога шла им под ноги, они подминали ее под себя дыханием и продвижением вперед, не считая шагов, не торопясь, не интересуясь, куда идут и когда вернуться. Но они были уверены, что вернуться, что Оглобля снова отведет их в теплый кооперативный хлев.

– И для чего им эти бочки сдались? – пробормотал Оглобля.

– Не все ли мне равно, для чего, – сам себе ответил он. И добавил: – Что хотят, то пусть и делают! Я их привезу, мое дело привезти, а там...

Он успокоенно затих, равнодушно не замечая ни дребезжанья телеги, ни стука собственного сердца. Теперь он вязал снопы и складывал в крестцы, не считая ни одних, ни других. Крестцы выстроились по обеим сторонам дороги, как до этого деревья, как еще раньше, до них, кукурузные делянки. Уморившись, он разогнул спину и долго пил из большого и тяжелого глиняного кувшина. Вытер губы и не удивился, что уже доехал до виноградника.

Волы сами свернули вверх по дороге, но скоро на развилке остановились возле зарослей терновника. Повернули назад головы, словно ожидая, что их распрягут. Оглобля узнал это место. Здесь когда-то была нива деда Лазара. Оглобля впервые внимательно посмотрел на волов и решил, что они принадлежали деду Лазару и по навыку остановились именно здесь.

– Да что это я, совсем из ума выжил! – опомнился тут же Оглобля. – Ведь те волы давно уже сдохли.

Он снова огляделся вокруг, не совсем уверенный, что это нива деда Лазара.

– Нет, я не ошибаюсь, – произнес он. – А может, и не она. Рядом с ней росла слива. Нет, орех, он еще высох с одной стороны.

– А сейчас ни ореха, ни сливы! – воскликнул Оглобля. – Зато колючек сколько хочешь!

Волы снова пошли сами, но он все же огрел их прутом по спинам. Теперь они ступали по винограднику, и Оглобля издали увидел три бочки. Соскочил с телеги, но тут же охнул, схватившись за поясницу. С трудом выпрямился, догнал телегу и остановил волов. Они обдали его облаком пара, глядя на него внимательно и спокойно.



– Вы видели людей, собак и деревья? – спросил он у них.

– Ничего вы не видели! – ответил сам себе Оглобля и накинул на них старые мешки.

Огляделся Оглобля и испугался. Вокруг на мерзлой земле серели пятна снега. Колючий кустарник вздымался выше окрестных холмов, за ним расстилался туман, в котором тонуло село. Не было ни поезда, ни людей, ни собак, ни деревьев. Видны были лишь три бочки, и Оглобле пришлось их раскачать, потому что они вмерзли в землю. Затем он дотащил их до телеги, погрузил на нее. А потом сел на телегу и тронулся в обратный путь.

Успокоился Оглобля, потер довольно руки.

## БЛУДНЫЙ СЫН

Он не был здесь два года. Рядом с его отцом покоился дядя, возле него – тетя, возле тети – другой дядя. Лежали покорные и кроткие в теплой земле, поросшей травой. На ветке акации чистил перышки голубь. К нему прилетела и голубка, и, глядя, как они охорашиваются, Спас вдруг различил и окраску цветков на дереве, и цвет травы. Вдали, в селе, лениво, но упорно лаяла собака. А отец его лежал под вербой, зарытый в земле, и Спас не мог дернуть его за рукав, сбить ему на затылок старую войлочную шапку и сказать:

– Батя!

Он стоял, оглупевший, чувствуя в душе пустоту, перед заросшими травой могилами с одинаковыми деревянными крестами, на которых одним и тем же почерком были написаны имена близких. Тут же была могила и его жены.

– Стояна! – проронил Спас, не слыша себя.

Он произнес ее имя так, как произносил тысячи раз, зовя из хлева или дома, или под каким-нибудь деревом, где она заворачивала взятую с собой еду или завязывала ремешки постолов, чтобы продолжать пахать, косить или окапывать, и в его голосе не было ни гнева, ни боли, ни печали, ни сожаления или сострадания – никаких чувств. Он произнес его так, как если бы сказал, что идет дождь или светит солнце.

Ясно было, что они лежали здесь, раньше него завершив свой путь, может, поэтому ему ужасно захоте-

лось с кем-нибудь поговорить. Увидев сидевшую под черным кипарисом старуху, он направился к ней. Она подняла голову, и из-под надвинутого на лоб платка сверкнули два зеленых глаза.

– Ты кто будешь? – спросила она, прищуриив глаза и приставив к ним козырьком костлявую руку, чтоб не мешало солнце.

– Я – Спас, – сказал он.

– Спас? – старуха открыла рот, чтобы лучше слышать свой голос и, услышав его, добавила: – Но ведь ты же там...

– Был там. – Он поддел носком тяжелого ботинка щепку, потом наступил на нее. Щепка затрещала.

– Был, говоришь, – сказала старуха. – А где ты сейчас?

Он с трудом ответил:

– Здесь. Я вернулся.

– Тебя выпустили иль ты сбежал?

– Выпустили. Я отсидел два года.

Она прикрыла глаза, словно подсчитывая годы, потом произнесла:

– Я знаю тебя, ты опять туда попадешь. Когда я тебя приняла и пеленала, ты лягался, как осел.

– Ты меня пеленала? – удивился Спас. Ему не верилось, что его когда-то пеленали.

– Я, я, а то кто ж еще? Помню, что это было в пятницу. Ты родился на Игнатов день.

Спас знал, что родился на Игнатов день и что бабка Неделя была его повитухой, но совсем об этом забыл. Она наблюдала за ним, все так же сидя под черным кипарисом.

– Тебе, должно быть, больше шестидесяти, – проговорила она.

– Шестьдесят один стукнул, – отозвался он.

– Еще молодой. Есть еще порох в пороховницах.  
– Есть, – согласился Спас.  
– Конечно, есть! Погляди на себя – настоящий богатырь!

– Богатырь, – механически повторил он.

Его жена и отец вдруг заговорили с ним, он их увидел, хотя не был совершенно уверен, что это именно они, а не какие-то другие люди, очень похожие на них. И сейчас их могилы оказались ближе к нему, чем когда он стоял возле них. Сейчас они превратились в живых людей с их глазами и голосами, одеждой и запахами и с другими голосами – голосами предметов и запахами предметов; и глаза людей и животных, их движения слились в одно целое, в золотое гумно, закружившееся перед его глазами, – в бег коней, в искры, летящие из молотилки, в сполохи золотистой мякины, в волны хлебного духа, в вихрь запахов лошадиного пота и нагретого зерна, во взмахи кнутов, сверкающие спирали вил, веялок, сит, в кружение большого решета, в круговерть зачатий и посевов, жатв и сбора фруктов, в перекрестный огонь быстрых взглядов...

– Спас! – позвала бабка Неделя. – А мне девяносто шесть стукнуло. Погляди, какие у меня ноги! Погляди!

Спас наклонился и взглянул на ее черные ноги с лиловыми буграми суставов, с темными вздутиями вен, наполненных кровью.

– Видишь, какие они?

– Вижу.

– Еще хожу, – промолвила бабка Неделя. – Подошвы совсем стерлись, но еще хожу. И зубы стерлись.

Она не предложила ему посмотреть на ее зубы. Сжала рот, затем снова разжала.

– У меня восемь зубов, – сказала она.

Спас в этом не сомневался. Улыбнулся, словно

перед ним был ребенок, хвастающийся, что у него выросло восемь зубов. Он тоже опустился на траву, и могилы вдруг показались ему живыми людьми, прилегшими отдохнуть во время жатвы в тенечке, закутавшись в домотканые шерстяные одеяла, чтоб не простыть.

– А чем ты собираешься теперь заняться? – спросила бабка Неделя.

– Ничем. Я еще не думал об этом.

– А сыновья?

– При чем тут сыновья? Они живут в городе, у них есть жены и дети. У них своя жизнь.

– Ты не поедешь к ним?

– Нет, останусь здесь. Ишак мой жив?

Она засмеялась:

– Жив! Он такой же крепкий, как ты. Дед Иван взял его. Твой ишак возит мешки с зерном на мельницу: нам дают по двести сорок килограммов зерна, вот мы и мелим. Возьмешь его обратно, дед Иван отдаст. Но не будешь брать с нас дорого, слышь?

– Не буду.

– Не буду, не буду – знаю я тебя, опять станешь брать по два лева!

– Не стану!

– Увидим, – сказала бабка Неделя. – Слушай, Спас, ты больше не подавай голос. Сиди себе тихо-мирно, помалкивай, незачем тебе вылезать.

– Незачем, – повторил он.

– Помалкивай, говорю! – вновь посоветовала она.

Спас промолчал. Он уже привык молчать, не выдавать своих чувств и мыслей. Он смотрел на ноги бабки Недели и на руку, которая их потирала. Она была похожа на ноги, и сама бабка была похожа на ноги, но глаза у нее были зеленые и веселые.

– Знаю я тебя! – снова сказала бабка Неделя, потирая черную лодыжку. – С тех пор, как ты был крохой. И жизнь твою знаю, и родителей твоих, и сыновей. Ты лучше молчи, хоть и кровь твоя кипит. Нож еще носишь с собой?

Он сделал движение, словно хотел вытащить из-за пояса нож, но ножа не было.

– Буду носить, – произнес Спас, и глаза у него потемнели. – Как вернусь с кладбища, сразу возьму. Я спрятал его в нише ограды. Очищу от ржавчины и буду носить.

– Станешь носить, а тебя снова туда пошлют.

– Пусть посылают! Я сорок лет носил этот нож, его носил еще мой дед, когда переправлялся через Дунай. Ежели он им мешает, пусть посылают! Я человека им не убивал, только колол поросят и баранов, ты это хорошо знаешь.

– Знаю! – промолвила бабка Неделя. – Никто не может заколоть поросенка или барана лучше, чем ты и твой двоюродный брат Дачо. И все же выброси ты этот нож, а то опять навлечешь на себя беду!

Спас увидел перед собой длинную белую дамбу, мутные воды реки и огромных комаров, беспорядочно вьющихся в темноте с пронзительным звоном. Он махнул рукой, прогоняя комаров и дамбу, но они не исчезли. Под дамбой тянулись ряды могил с одинаковыми крестами и одинаково написанными на них именами. Голуби вспорхнули с ветки, и только тогда дамба пропала. Остались лишь могилы. Тень от черного кипариса переместилась, и солнце освещало юбку бабки Недели.

Спас поднялся.

– Уходишь? – спросила, не шевельнувшись, бабка Неделя.

– Ухожу.

Он подумал о черной войлочной шапке отца: ее нужно обязательно найти. Если ее нет на гвозде под лестницей, он будет искать в хлеву, в амбаре, на пыльных чердаках, где пол покрыт сухими кукурузными зернами и мышиным пометом, – будет искать, пока не найдет. Некуда ей деться, этой шапке, пропитавшейся соленым потом и запахом, знакомым Спасу с самого рождения.

– И молчи, слышь? – сказала бабка Неделя.

– Буду молчать, – отозвался он кратко: ему уже надоело. – Чего мне болтать?

– Возьми ишака и молчи. Дед Иван вернет тебе его, но, гляди, дорого с нас не бери!

– Не буду, – пообещал Спас.

Он двинулся по заросшей травой дорожке к покосившимся деревянным воротам, изъеденным древоточцем. Они были распахнуты настежь. Он вышел и остановился, глядя на село, открывшееся за оврагом. Потом ноги в тяжелых грубых ботинках медленно повели его туда.

## СВАДЬБА

Ишак не знал, что в селе свадьба, но шел именно туда. Привязали его к колу во дворе и забыли о нем. Люди вошли в дом – все старые да пожилые – и расселись за столом. Когда ишака зовут на свадьбу, он не знает, кто женится. Поэтому Марко и не знал, что женятся шестидесятилетний Недьо, кооперативный плотник, и пятидесятипятилетняя Зорка. У обоих были сыновья и дочери, которые жили в городе, – все женатые и замужние, были у них и внуки, но они решили пожениться, потому что рано овдовели и не хотели и дальше жить в одиночестве. Они были хорошими соседями, дворы их были смежными и ворота рядом, и после свадьбы Недьо решил разрушить ограду, разделявшую их дворы, тогда у них были бы два дома и большой двор с двумя воротами. Каждому были настолько хорошо знакомы двор и дом другого, что им вовсе не казалось странным объединить все вместе. Они написали своим детям письма, в которых сообщали о своей женитьбе, и получили ответы, полные проклятий и угроз. Как им не стыдно вести себя так на старости лет! А ишаку не было ничего известно ни о постыдном поведении жениха и невесты, ни о письмах – он знал только то, что его привели на свадьбу, и удивлялся: почему его привязали во дворе смотреть, как падают снежинки?

На снегу во дворе виднелись отпечатки множества ног, пахло жареной свининой. Пес Недьо вылез из-под брички и потянулся. Эту бричку сельсовет купил у деда Стефана для того, чтобы отправлять на ней стариков



в последний путь, и после небольшой переделки стала она катафалком, а Недьо привез ее домой подтянуть рессоры.

Пес вылез из-под брички потому, что ему очень хотелось попасть на свадьбу, но никто его туда не позвал. Лишь запах свинины звал его все сильнее, и у пса даже слезы навернулись на глаза от проявленной к нему несправедливости. Он гавкнул раз-другой на ишака, но Марко не понял этих злобных и жалобных выпадов, так как не знал собачьего языка и не любил жареной свинины. Любил он конфеты, особенно мятные, и поэтому, заметив на снегу что-то черное и круглое, потянулся мордой к нему. Но оказалось, что это вовсе не потерянная кем-то конфета, а замерзший овечий катыш. „Хорошо, – сказал себе Марко, – ну и пусть это не конфета, ну и пусть за освещенными окнами едят и пьют, я же буду стоять здесь, и меня будут щекотать снежинки“. Много ли надо неприхотливому казанлыкскому ишаку? Близость брички, привязи, дома – и он уже чувствует себя превосходно, на своем месте. Ничем его не удивишь.

А пес удивлялся, что он у себя дома, а его никто не зовет. Он принюхивался к вкусному запаху, доносившемуся из окон, и ждал мяса. Не заметил он и овечьего катыша на снегу, потому что ему никогда не приходилось есть конфет, тем более мятных. „Нет, нету правды на свете, – сказал себе пес Недьо, – как это может быть: ты у себя дома, а о тебе забыли?“

А про него и в самом деле забыли. В разгар веселья Спас поднял стакан. Остальные тоже подняли свои стаканы.

– Давайте чокнемся за молодых! – сказал Спас. – Здоровья им и счастья!

– Боже мой, какой стыд! – прошептал в ладонь его

двоюродный брат Дачо, а во всеуслышание крикнул, поднимая стакан: – За ваше здоровье!

Все чокнулись, выпили до дна стаканы с добрым памидовым вином, заели острым салатом и кусочками жирной свинины. Потом снова пили, уже молча, опять ели и опять пили. Поднялся с места Недьо, еще крепкий и статный, в костюме в полоску со значком бывшего Союза кооперации на отвороте, уже порядком выживший, с выпученными глазами и щеками в порезах от старательного бритья. Зорка смотрела на него счастливыми влажными глазами. Как это произошло, что двое одиноких людей – добрых соседей – решили создать семью? Как это случилось?

– Случилось так, – подхватил ее мысль Недьо, – что мы с соседкой Зоркой решили убрать между нашими дворами плетень, значит, вроде бы скооперироваться. Она вздыхает, я вздыхаю, так уж пусть мы будем вместе вздыхать и порем вместе, раз всю жизнь друг друга знаем и уважаем как людей и как соседей. Чтоб было кому нас в землю зарыть... – Услышав всхлипы Зорки и заметив остекленевшие взгляды гостей, Недьо споткнулся, но тут же продолжил: – Решили мы, значит, соединиться на старости лет и начать новую жизнь, но наши дочери и сыновья не хотят нас признать...

– Им-то легко, – произнес сочувственно Дачо. – В городе за них машины работают, а они получают себе зарплату и катаются на „Москвичах“.

– Именно так, – согласился Недьо. – Им легко. Все у них устроено, все в порядке. Но они нас признают, куда им деться? Раньше, бывало, родителям надо было признавать своих сыновей и дочерей, когда те женились без согласия отца-матери, а теперь все наоборот. Будто мы женились без их согласия, и они должны нас признать!

– Кто женился без согласия родителей? – спросила бабка Атанаска, глухая на одно ухо.

– Недьо и Зорка, – пояснил Дачо, наклонившись к ней.

– Ага! – сказала бабка Атанаска. – Без согласия, говоришь?

– Они вас признают, бай Недьо! – сказал фельдшер Кольо, самый молодой из всех, родом из другого села, общий любимец, – Раз Лесник вас признал и подписал ваши документы, раз председатель поставил на них печати, значит, наша власть вас признала. И вашим дочерям и сыновьям некуда податься. Они вас признают! За ваше здоровье!

Все опять чокнулись. От вина глаза заблестели, лица стали веселыми. Спас откашлялся, Ламби, глядя на него покрасневшими глазами, положил в рот еще кусочек мяса. „Хорошего поросенка вырастил Недьо, – подумал Ламби, – ну а коль решил человек жениться, пусть женится! Вот Спас никогда уже больше не женится, он себе на уме. Глядишь на него – улыбается, а внутри у тебя аж холодеет от его улыбки“. Ламби почувствовал, как внутри у него похолодело, и взял себе еще кусочек мяса. Дачо уставился своими маленькими живыми глазками на невесту, вспомнив о жене, и вздрогнул от неожиданности, когда Спас толкнул его в бок и прошептал:

– Эй, братишка, не пялься на невесту, я знаю, какой ты безобразник! Тебе все равно кто.

– Ну что ты говоришь! – запротестовал Дачо и виновато поглядел на молодожена, своего собрата по плотницкому делу.

Недьо опрокинул еще стакан, чтобы прочистить горло, и продолжал:

– Сейчас мы начали новую жизнь во всем, правиль-

но я говорю? Раз прощаемся со старым, надо проститься, пока не поздно.

– С чем прощаемся? – спросила, недослышав, бабка Атанаска.

– Со всем, – пояснил Дачо.

– Ну что ж, простимся, – вздохнула бабка Атанаска.

– Я сыта всем по горло!

Дед Стефан пил, а в его круглых детских глазах читалось веселое удивление. Когда они вошли во двор Недьо, он приблизился к своей бывшей бричке, купленной у него сельсоветом для погребальных целей, и тайком погладил ее. Бричка отозвалась на ласку, и он понял, что она еще его, хотя сельсовет ее и купил.

– А что, как ни крути, она моя и есть, – произнес вслух дед Стефан, но никто его не услышал.

Пес во дворе глотал слюнки, слизывая падающие на морду снежинки, и ждал мяса. Ведь рано или поздно люди должны наестся, тогда они выйдут и позовут его. Чтобы спастись от снега, пес залез под бричку у ворот, где было сухо. Там пахло теплой мякиной, и ему захотелось спать, но спать было нельзя, чтобы не пропустить угощение. Свернувшись калачиком, пес прикрыл один глаз. Потом открыл его и прикрыл другой, чтобы не утомляться. Глядя по очереди то одним, то другим глазом, он стал засыпать и наполовину заснул. Стал ему сниться половинчатый сон – половинки людей с одной рукой и ногой, которые прыгали в половине двора, где возле кола стояла половина ишака. Когда псу приснилось пол-ишака, он засмеялся и проснулся. Ишак был целым и, как и прежде, кротко стоял под снегом. Тогда пес заснул другим глазом, и ему приснилась другая половина сна. Перед ним вдруг появилась половина жареного поросенка. Тут пес не выдержал и заснул обоими глазами, но поросенок, вместо того что-

бы стать целым, вообще исчез, а пес продолжал спать и во сне ощущал сильный холод и голод.

Взвизгнув, он подскочил от пинка Спаса и с удивлением увидел, что все гости высыпали во двор.

– Мы хотим плясать хоро, – сказал Спас, – а кто же нам будет играть? Дачо, иди разбуди Улаха и доставь сюда вместе с кларнетом!

– А что, пойду, – отозвался Дачо. – Улах быстро высыпается, а ежели надо играть на кларнете, сразу прибежит! Лишь бы не был занят по работе...

И правда, Дачо скоро вернулся вместе с Улахом, который уже закусил мундштук кларнета. Глаза у него были еще сонные, но кларнет уже проснулся.

– Поздравляю! – крикнул Улах и заиграл:

Кларнет пискнул тонко и фальшиво, но Улах начал его усмирять и не сдался до тех пор, пока кларнет не смирился и не заиграл хоро северного края. Взявшись за руки, люди образовали цепочку. Спас повел ее, покрикивая: „Иху-хуу!“ Цепочка завернулась в круг, который расширился по всему двору. Другие тоже принялись подбадривать себя криками, кларнет уже не фальшивил, и Улах окончательно проснулся. Из дома вышли все, кто там оставался, и тоже включились в пляс. Люди весело подпрыгивали, притоптывая ногами по снегу. Кто-то крикнул:

– Недьо, какая ж это свадьба, ежели в хоро нету петуха с воздушной кукурузой?

Хлопнув себя по лбу, Недьо оставил хоровод и бросился в курятник. После долгой возни появился с разгневанным петухом, ожесточенно клюющим значок Союза коопераций. Пока укрощали петуха, Улах перестал играть. Люди остановились. Бабка Атанаска крестилась дрожащей рукой. Спас стоял, выпятив грудь и улыбаясь, его кепка была лихо заломлена, как у молодого парня.

– Спас, возьми петуха, – сказал Недьо. – А воздушной кукурузы нету.

– И без нее обойдемся! – крикнул Дачо. – Большое дело – нет кукурузы! Ежели для нас главное – кукуруза, лучше вообще было бы ничего не устраивать! Ну-ка, Улах, давай снова хоро!

Вновь полилась мелодия хоро, и люди последовали за ней. Спас высоко над головой держал петуха. Петух взмахнул крыльями и принялся остервенело клевать кожаную кепку Спаса. Танцующие громко кричали и топали.

– Ух-ух! – приговаривала, подпрыгивая, бабка Атанаска. Ей вдруг показалось, что это ее свадьба, и она начала искать глазами своего жениха, но не могла найти. Вырвавшись из цепочки танцующих, она подошла к Улаху и, подбоченившись, встала рядом.

– Юрдан! – позвала она своего жениха.

Всплески смеха потонули в общем шуме и музыке. Спас еще сильнее замахал рукой, в которой держал беснующегося петуха, кровь у него закипела, как в былые времена, захотелось с кем-то драться. Заметив подбоченившуюся бабку Атанаску, Спас крикнул:

– Нету его, бабушка Атанаска! Иху-хууу!

– Куда вы его спрятали? – завизжала бабка Атанаска и в бессильной злости пнула ногой ишака Спаса. Марко быстро на нее взглянул и простил ей этот пинок: не лягнул в ответ. Бабка Атанаска бросилась к воротам и выскочила на заснеженную улицу искать своего Юрдана, а хоровод вытянулся в цепочку, а потом снова сомкнулся в круг. Жалобно моргая, пес смотрел, как цепочка танцующих закручивается на манер домашней колбасы. Тут Недьо подбежал к бричке и поднял руку.

– Улах! – крикнул он. – Перестань играть! Я хочу

говорить! Ты, как музыкант, должен подчиниться! Угомони свой кларнет!

Смутившийся Улах прекратил игру. Люди окружили Недьо и бричку, а дед Стефан, воспользовавшись суматохой, опять погладил ладонью бричку. Она тоже его погладила и улыбнулась. Спас нахмурился, опустил руку с петухом и подошел к Недьо.

– Нехорошо, друг, негоже нарушать хоро!

– погоди, друг, – сказал Недьо двум Спасам, стоявшим перед ним с двумя петухами в руках. – Я эту бричку взял в п-починку. Это... того... с-служебная б-бричка!

– Ну да, служебная! – вмешался Дачо. – Это бричка деда Стефана. А, да, верно, ее ведь купили для... – И Дачо разразился смехом, а дед Стефан снова придвинулся к бричке и дотронулся до расслабившейся рессоры. Рессора тоже дотронулась до него.

– Т-точно! – произнес Недьо с трудом. – Ее к-купили, чтоб она была п-погребальной к-колесницей, обслуживала н-нас... А м-мы с-сейчас д-давайте ее ос-святим! Улах, в-влезай в б-бричку!

Улах побледнел, но не успел он опомниться, как Спас поднял его вместе с кларнетом и поставил в бричку. Другие тоже полезли в нее, взяли с собой невесту и оплетенную бутылку с вином.

Недьо распахнул ворота и закричал:

– Сейчас я вас повезу! Эту б-бричку государство купило для н-нас! Улах, играй!

Улах заиграл. Дачо и Недьо вытолкнули бричку на дорогу, но она не поехала, потому что Недьо споткнулся. Тогда подскочило несколько человек и поволокло бричку за собой. Дорога пошла вниз, и бричка покати-лась сама. Тонкий голос кларнета раскалывал небо. Спас вторил ему басом, размахивая рукой, в которой был зажат петух. Бричка неслась, вихляя, вниз, за ней

бежали, падая в снег, свадебщики. Лишь дед Стефан не падал, он бежал вслед за своей бричкой, широко улыбаясь и расставив руки. За ним несся пес, решивший, что о нем все же не забудут. Село раскачивалось на холмах, в домах просыпались.

Ишак глядел на распахнутые ворота и свежую колею от проехавшей брички. Ему в ноздрю залетела снежинка, стало щекотно, и он чихнул. Никогда Марко ничему не удивлялся, а сейчас удивился. Почему люди сами впряглись в бричку вместо того, чтобы впрячь его?



## ЛУННАЯ НОЧЬ

Бабка Неделя видела с балкона, как Дачо загнал в хлев своих пять овец, обошел двор и исчез в доме, как потом снова вышел, оглядел двор и ушел. Балкон был темным, весь дом бабки Недели утопал во тьме, и Дачо боялся смотреть в ту сторону, на ее дом. С тех самых пор ни он, ни его жена никогда не глядели в этом направлении.

Бабка Неделя засмеялась. Она сидела в полной темноте на сундуке, подобрала под себя ноги, как кошка. Раньше здесь сидела кошка, но бабка Неделя выгнала ее и заняла сама ее место. Теперь-то она знала, что кошка отнюдь не была глупой: отсюда просматривался весь двор Дачо, были хорошо видны его дом, летняя кухня и свежеекрашенная уборная, крытая черепицей, а за оградой его участка – построенный им висячий мост, овраг, поросший бузиной, над ним – дома, взбегающие вверх по склону, справа – дорога; сиречь, взору смотрящего открывалось почти полсела. Нет, кошка была совсем, совсем неглупой!

На небе светила луна. Крыши домов, дорога, овраг были залиты ее светом, от луны струилось призрачно-белое сияние, рассеивающееся по земле. В лунные ночи бабка Неделя никогда не спала. Впрочем, она вообще почти не спала: по целым дням она пропадала на кладбище, бродила среди могил, наблюдала за проходящими, всякий раз усаживаясь на новом месте. Когда не приходили люди, прилетали птицы, клевали с ее по-

черневшей сухой ладони крошки хлеба и пшеничные зерна. На кладбище царила тишина: хотя оно находилось возле самого села и мимо него люди шли в поле и возвращались обратно, звук голосов и скрип телег туда почти не доносились. Тут было царство совсем иных звуков, и бабка Неделя приходила сюда ради них. Эти звуки рождались в глубине самого ее существа, но она слушала их как бы со стороны. Она очень хорошо знала, что они рождаются в ней, и потому спрашивала себя, жила ли она вообще когда-либо на свете и существует ли на самом деле это село, в котором осталось так мало людей. Нет, она не разговаривала с мертвецами, как болтали в селе, – она разговаривала с собой, а в ней не все умерло. То, что оставалось, оживало здесь, на кладбище, и те, кто приходил сюда, удивлялись молодому взгляду ее зеленых глаз, в которых светилось неугасимое пламя жизни.

Она не ощущала большой разницы между живыми и мертвыми. Дачо тоже был мертвецом, хотя и ходил каждый день на пилораму или на полевые работы, если не нужно было пилить доски. И, глядя с балкона, как он снует туда-сюда, кормит овец или разговаривает с женой, стараясь не смотреть в сторону бабки Недели, она знала, что он мертв. Она глядела не на Дачо – она вглядывалась в самое себя. Он был в ней вместе со всеми другими живыми и мертвыми людьми – жителями ее села и членами ее бесконечного рода. Она принимала младенцев почти у всех односельчан, была повивальной бабкой всех в селе, за исключением, может, лишь столетнего старца деда Димитра; для нее и женская утроба и открытая могила были почти одно и то же, потому что она и встречала и провожала всех. Кратким был земной путь людей, потому она почти не отличала их друг от друга, хотя знала до мельчайших

подробностей все зигзаги каждого человеческого пути.

Сейчас было полнолуние, луна освещала бледным светом притихшее село. Все спали. Женщины беспокойно металась во сне возле глубоко спящих мужчин. Маленьким девочкам снились кошмары, и они плакали, но это было раньше, когда в селе еще были маленькие девочки. Теперь кошмары снились старухам, потому что они тоже были маленькими девочками и всегда такими и останутся.

Бабка Неделя слезла с сундука, выпросталась из одежды, оставив ее лежать на балконе, и совершенно голая, с распущенными седыми волосами выскользнула во двор. Ее сухое сморщенное тело, ставшее вдруг совсем белым и бесплотным, двинулось по белой траве. Мало-помалу движение его ускорилося: шаги стали быстрыми, руки поднялись вверх и замахали в воздухе.

Бабка Неделя, глядя на луну, принялась танцевать странный танец, кружась по двору и время от времени низко кланяясь. Лицо ее после этих поклонов озарялось радостной улыбкой. Она слышала рождавшиеся в ней звуки – они мягко пробегали по ее телу, и она протягивала к ним руки, пытаясь поймать их и удержать, но они ускользали, возвращались снова и кружились вокруг нее, словно белые змеи. Она начала смеяться, сначала тихонько, потом громче, пока наконец не разразилась резким, пронзительным хохотом, понесшимся над спящим селом.

– Я что тебе говорил? – прошептал Дачо. – Ты думал, что я вру. Посмотри теперь и сам убедись!

– Она спятила, – тихо промолвил Лесник, моргая.

Они стояли босиком возле ворот бабки Недели и смотрели на нее в щель между досками, скрытые в тени, отбрасываемой воротами.

– В нее все равно что дьявол вселился! – прошептал Дачо, глядя в щель. – Тьфу, такой срамоты я еще никогда не видел! Скажи, Лесник, ты член партии и разбираешься в этих вещах, – как надо все это понимать?

– Откуда я знаю, – вздохнул Лесник. – Взбесилась бабка, будто овца, на которую напала вертячка! Мне еще не приходилось видеть голой старухи. Ты только посмотри, что она вытворяет!..

Бабка Неделя отбивала луне и селу глубокие поклоны. Затем принялась обирать что-то с себя и разбрасывать вокруг, то есть делать такие движения, будто обирает и разбрасывает. Мужчины замерли, прильнув к щели. Кончив разбрасывать, бабка Неделя медленно направилась к дому со сосредоточенным лицом, на котором вдруг отразилась такая му́ка, что у мужчин захолонуло сердце. Она поднялась на балкон, оделась и снова уселась на сундуке, поджав под себя ноги. До мужчин донеслись горькие рыдания.

Тихо проскользнув вдоль забора, они свернули к висячему мосту и остановились в тени, не осмеливаясь посмотреть друг другу в глаза. Лесник сел на дощатый настил моста и начал болтать ногами в воздухе. Дачо тоже сел рядом и стал болтать ногами. Мост закачался. Оба вспомнили, как мальчишками сиживали здесь по вечерам, болтая ногами и разговаривая, мечтая о большом мире, который ждал их впереди. Вспомнив это, они поглядели друг другу в глаза и увидели, что от тех мальчишек ничего не осталось. Каждый увидел совсем другое лицо, совсем другой взгляд. Лесник закурил, бросил спичку в овраг под ними. Когда он наклонился, пистолет глухо стукнул о доски.

– Меня словно в тину окунули, – произнес он. – Неловко перед самим собой.

– И мне неловко, – отозвался Дачо. – Каково мне,

мы ведь с ней соседи. Не смею поглядеть в ту сторону – ни на двор, ни на балкон.

– Зачем тогда меня позвал? – вскипел Лесник. – Я так хорошо спал!

– Да ведь ты мне не верил! – сказал Дачо. – Вот теперь и дай объяснение этим фактам!

– Она прямо как старый козел, Дачо! – промолвил Лесник. – Тьфу ты, в какой-то момент мне хотелось вытащить пистолет. Эх, браток, еще долго старое будет нас держать. Надо принять какие-то меры.

– Какие именно, осмелюсь спросить?

– Откуда я знаю... Возьму и вызову „Скорую помощь“ из города, пусть ее увезут на обследование. И без того, когда я приезжаю в город, все глядят на меня, как на зачумленного! Секретарь хмурит брови: „Опять у вас что-то стряслось! Надоело мне все время заниматься вашим селом!“ А мне что, не надоело? Пусть-ка он сам приедет сюда и всех попробует привести в норму!

– Мы сами приведем себя в норму, – произнес веско Дачо. – Чего там особенно приводить?

– А ты не распускай язык! – обрезал его Лесник.

– Я не распускаю. Вы давайте приводите в порядок бабку, а то – неровен час – и другие женщины подхватят от нее эту заразу. Ты только представь себе, Лесник, вдруг и наши жены выскочат во двор и начнут плясать голышом!

– Ежели моя так выскочит, я ее застрелю! – отрубил Лесник.

Но тут же умолк, вспомнив, что жена его прикована болезнью к постели. Его охватил стыд, он бросил окурок в овраг. Дачо болтал ногами, раскачивая весь мост. Он зевнул. Ему стало приятно, что он качается на собственном мосту.

– Этот мост я сам построил, – произнес он гордо. – Старый половодьем унесло, а этот, ты ведь знаешь, я сам сделал. Настоящий висячий мост!

– Знаю, ну и что из этого?

– Что? Построй-ка ты такой мост, чтобы люди по нему ходили, а тогда уж похваляйся своим пистолетом! Ты думаешь, если у тебя пистолет, так им можно во всем мире навести порядок? Ежели это так, застрели бабушку Неделю, и все уладится! Да, но она живая душа, ее не приструнишь каким-то там пистолетишкой!

– Я предупредил: не распускай язык! Мелешь вздор – такие все у вас в роду! – огрызнулся на Дачо Лесник.

– Слышь, Лесник, – заявил задетый за живое Дачо, – ты наш род не трогай! К тому же ты тоже один из его отпрысков. Не забывай – мы с тобой троюродные братья по материнской линии.

Лесник не отозвался. Вытянув ноги из-под перил, он встал. И Дачо выпрямился во весь рост на своем мосту, гордо и счастливо засмеялся. Сейчас ему показалось смешным, что он мог бояться бабушки Недели. Да пусть она хоть нагишом пляшет, хоть сидит неподвижно на сундуке – не его это дело! Лесник сказал:

– Знаешь, Дачо, ты обо всем этом особенно не рассказывай, завтра подумаем, что можно сделать.

– Не буду, браток, – произнес улыбающийся Дачо. – Будь спокоен, у меня свои заботы, ничего другое меня не интересует.

Пробормотав нечто невнятное, Лесник повернулся и ушел, а Дачо возвратился, улыбаясь, домой и лег спать. Перед глазами у него мелькнула голая бабушка, но сон тут же прогнал ее куда-то, стер все картины с сетчатки закрытых глаз и погрузил в небытие.

Бабушка Неделя сидела на сундуке. Она услышала шаги Лесника, но не обратила на них внимания. Его она

тоже принимала – там, давно. И он был такой же мертвец, как все остальные, хотя и шел сейчас в темноте босиком. Тут Лесник чихнул и прошел дальше, думая хмуро о ее дальнейшей судьбе.

А у нее не было судьбы. У нее были белая полная луна, темное спящее село и зеленые глаза. Сидя на своем сундуке, она сейчас провожала звуки. Они улетали, чтобы когда-нибудь вернуться снова, вывести ее на белую траву и закружить в танце ее сморщенное чужое тело, уставшую человеческую плоть. Бабка Неделя провожала звуки, с которыми только что смеялась и плакала. Завтра она пойдет на кладбище, где ее ждут иные звуки. Так и шла она по своему земному пути среди одних и других звуков, между кладбищем и селом, между живыми мертвецами и мертвецами мертвыми – высохшая, утомленная и бессмертная с веселыми зелеными глазами.

## ПТИЧКА

Лесник услышал звук открываемой калитки. Вошел Босьо – сперва одно плечо, потом другое – и если бы Лесник не знал его вот уже пятьдесят лет, он сказал бы, что это какой-то другой человек. Прежний Босьо никогда не шагал так широко, не улыбался, он никогда бы не пришел к Леснику, не сел рядом и не сказал:

– Я услышал ее!

– Кого? – ошарашенно спросил Лесник.

– Ее!

– Кого ее?

– Птичку! – выдохнул Босьо. – Я очень давно ее не слышал.

Лесник растерянно заглянул в его радостные глаза. В солнечном свете, казалось, даже русый пушок на румяных щеках Босьо излучает радость. „Ну, раз Босьо заговорил, – подумал Лесник, – значит, есть еще на свете чудеса!“ Он не слышал, чтоб Босьо говорил с тех пор, как его знал. Один из его братьев притворялся немым еще во время первой мировой войны, чтобы его не взяли в армию, но Босьо вообще не надо было притворяться: он всегда был нем. А сейчас он сидел на доске возле пыльной метлы и вздыхал.

– А я тебя никогда не слышал, – сказал Лесник. – Насколько я помню, уже лет пятьдесят, как я не слышал, чтоб ты говорил.

– Да, полсотни лет наберется, – согласился Босьо.



– Но этим утром я ее услышал и захотел поделиться с тобой.

– Какая же это птичка?

– Моя! – убежденно ответил Босьо и снова улыбнулся.

– Ты, случаем, не свихнулся?

– Вовсе нет! Это моя птичка, я узнал ее по голосу. Мне было семь лет, когда я ее услышал в первый раз. Тогда как раз с гор подул южный ветер, и снег перед нашим домом растаял. И она прилетела и свила себе гнездо на тополе.

– Что же это за птичка? – пробормотал Лесник. – Насколько мне известно, птицы живут всего несколько лет.

– Не знаю, может, и так, но только это та самая птичка. Другие, может, не живут долго, но эта и сейчас жива. Хочешь, я тебе ее покажу, чтобы и ты услышал ее голос?

Лесник замахал руками:

– Только этого мне не хватало – слушать птичек! Я, друг, сижу тут и голову ломаю, как решить здешние проблемы, а ты зовешь птичку слушать! Агроном сбежал – мне мылят шею, кукуруза сгнила – опять мне по мозгам! Солома загорелась – мне отвечать! А вы только и смотрите, как бы увильнуть от ответственности – ни наше государство, ни наш строй вас не интересуют. Вот возьму да уеду куда глаза глядят! Да только куда мне ехать, ежели я отсюда не могу двинуться! – Лесник тяжело вздохнул: сейчас ему были противны и он сам, и село, и весь мир. Он вспомнил о больной жене Марии, лежащей неподвижно в нижней комнате, устремив гаснущий взор на потолок; о замужней дочери, живущей в городе, которая уже давно не навещала их, и добавил: – Вам нужен не такой мягкий человек, как я, а держи-

морда, перед которым вы будете ломать шапку за десять шагов! Партийный секретарь, тьфу! Мне бы чабаном стать да в горы податься, на государственные луга! Лежи себе по целым дням, покрикивай на овец и радуйся чистому воздуху и жизни! Бьешься тут, чтобы открыть им глаза, мир по-новому объяснить, а они – слушают птичек!.. Слушай, Босьо, ты хорошо делал, что молчал столько лет! Замолчи-ка снова и не болтай ерунды...

– Не замолчу! – твердо заявил Босьо. – Когда нужно было молчать, я молчал. А теперь хочу наверстать! Могу рассказать тебе такое, что у тебя волосы встанут дыбом!

– Что же это за „такое“?

– Да так, разное, мои думы – только ты их не поймешь! – Прищурив глаза, Босьо прибавил: – Я сам еще не понял, так где уж тебе понять! У тебя, Лесник, душа высохла, как раздавленная на дороге лягушка. Встряхнись, наконец, ты же государственный человек и партиец, за всех нас в ответе – пошли, я покажу тебе птичку, посмотришь, где она свила гнездо.

Лесник слушал, но ему казалось, что все это сон. Босьо продолжал:

– Когда я ее услышал, душа моя открылась ей навстречу! Она запела, и я понял, что это моя птичка. Она мне пела с высоты.

– С какой высоты? – растерянно спросил Лесник.

– С вершины тополя. Мы с батей старый тополь спилили – он внутри загнил, и на его место новый посадили. Обнесли молодой тополек загородкой, чтобы коза не ела, а потом загородку убрали. Вырос тополь – настоящий великан, в самое небо уперся. И сейчас с него поет для меня птичка. Теперь я могу говорить, сколько хочу, никто не может мне запретить!

– Ну, раз хочешь говорить, говори! – устало произнес Лесник. – Кто тебе будет запрещать? Только не выступай против власти и кооперативного строя.

– Не буду, – обещал Босьо, – мне вовсе и не хочется говорить против власти и кооперативного строя. Мне хочется говорить о другом – о листьях и муравьях, о загородке вокруг тополя, которую мы сколотили с ба-тей, и о бате, от которого остались нам только шапка да палка – только это нам прислали. Он, Лесник, видел больше всех нас и понял больше, но никому не мог этого рассказать – его все равно бы не поняли.

– Да что он такого видел! – с досадой сказал Лесник. – Будь он хоть кем-то, а то – судовой повар! Котлы с супом да очищенную картошку – вот что он видел!

– Ты не знаешь, что он видел, – кротко возразил Босьо. – Он видел небо и океан, разных рыб и китов и сколько еще всего, но не решился, бедный, обо всем этом рассказать, так и помер от непонимания.

– Я знаю, отчего он помер, – язвительно произнес Лесник. – Не хвали его чересчур! Он помер от пива. По двадцать четыре кружки пива выпивал за день, и пузо у него стало таким, будто он беременный близнецами. Он умер оттого, что слишком много пил и ел, – вот сердце-то и не выдержало. Всему селу известно, отчего он помер.

– Возводят на него напраслину, – грустно сказал Босьо. – Пиво он пил, не отрицаю, но не от пива умер. Он умер совсем от другого.

– От чего же?

– От мыслей. Ты, Лесник, не понимаешь, как это можно умереть от мыслей, а я понимаю. Я столько передумал за свою жизнь, что больше не могу эти мысли при себе держать.

– Оно и видно, – засмеялся Лесник. – От стольких мыслей ты скоро совсем свихнешься.

– Не свихнусь! Я сказал – начну рассказывать, у тебя волосы встанут дыбом. Столько всего я думал и передумал, – он потупил взор, – но вот не могу рассказать.

– Почему не можешь? – Лесник поглядел на него исподлобья: он не знал, как быть. – Раз что-то тебя грызет, расскажи, чтобы полегчало. Если ты умрешь от мыслей, пусть я буду знать, от чего именно ты умер.

– Не буду я сейчас умирать, – отозвался Босьо. – Хочу еще немного пожить. Теперь птичка от меня не улетит. Пятьдесят лет я ждал ее и сейчас ни за что на свете не упущу!

– И о чем же ты столько думал все эти годы? О ней, что ли?

– И о ней тоже, только не знал, что думаю о ней. Я размышлял, Лесник, о том, для чего мы родились на этот свет, почему трудимся, не покладая рук, и почему, когда умрем, от нас ничего не останется.

– Ну и что же ты надумал?

– Ничего. А вот прилетела птичка и про все это пропела.

– Прекрасно, – нервно передернул плечами Лесник. – Скажи тогда мне.

– Не могу, – вздохнул Босьо, – хотел сказать, а получается совсем другое. Вот оно тут – на языке вертится, хочу тебе объяснить, а выходит совсем не то.

– Не то, потому как ничего нет, – резюмировал Лесник. – Тебе бы надо обратиться к врачу-невропатологу.

– Незачем мне обращаться к врачам, – возразил, не обижаясь, Босьо. – Я в порядке, Лесник, но вот не могу сказать тебе все это – хоть убей, не могу!

Лесник шумно вздохнул:

– Ох, Босьо, слушаю я тебя и удивляюсь: ребенок передо мной или взрослый человек? Для того ли ты молчал столько лет, чтобы сейчас бог знает чего нагородить?

– Для того. И буду говорить до тех пор, пока не смогу объяснить всего. Не может быть, что нет таких слов. Ведь для всего есть слова, верно, Лесник?

– Верно. Есть и словари. Там все слова собраны и распределены по буквам. Откроешь определенную страницу и найдешь нужное тебе слово.

– Но этих слов, небось, нет в словарях, – с сомнением промолвил Босьо. – Ежели б они были, я бы сейчас их не искал.

– А может, и есть. Те, кто составляет словари, слушают, что люди говорят, и все записывают.

– Так и я слушал, что люди говорят, – заметил Босьо. – Всю жизнь только и делал, что слушал. Все слова запомнил, но тех, которые мне нужны, никогда не слышал.

– Раз ты их не слышал, – сказал Лесник, – значит, их нет!

– Не может, чтоб их не было, раз они нужны! Всю землю переверну, но найду!

Лесник засмеялся:

– Слушай, Босьо, спроси-ка ты птичку! Может, она тебе подскажет.

– Не смейся! Не смейся!.. Ведь она же мне спела эту песню. Птичка слов мне не скажет, она только сообщила мне то, что я никогда ни от кого не слышал. Ты, Лесник, смеешься, потому что не понимаешь, о чем речь, но я снова скажу и буду повторять до тех пор, пока ты поймешь – ты и все остальные. Я хочу, люди, вам это сказать! Всю жизнь я вас слушал и понимал, поймите же и вы меня сейчас!

– Пойдем! – Лесник ободряюще похлопал его по плечу. – Для того мы здесь и поставлены – выслушивать каждого и понимать. Раз тебя что-то гложет, скажи, чтоб отлегло от сердца, для того мы и люди. Ежели это горе, тебе полегчает.

– Нет, не горе, – произнес задумчиво Босьо. – И не радость. Это что-то такое большое – больше горя и радости, больше забот, больше всего. Что-то, что каждому должно быть известно. Я так долго его ждал, а сейчас не могу выразить словами. Но понимаю, мне все ясно, я так отчетливо вижу его, вот как тебя.

– Так скажи тогда!

– И скажу! – решительно произнес Босьо, вставая. – Это так просто, мне нужно только одно словечко! Но я его не знаю, никогда не слышал, но услышу. Ежели не услышу, сам придумаю! Пусть я многого не умею, но одно-то слово могу придумать?

– Можешь! – успокоил его Лесник и тоже встал. К нему подбежали куры, глядя на него красными, словно от недосыпания, недоверчивыми глазами. – Ступай, Босьо, слушать птичку, а я пойду покопаюсь в огороде. Поговори и с другими, может, они надоумят тебя на счет слова.

– Поговорю, – грустно пообещал Босьо. – Я торопился к тебе, чтобы сказать то слово, я знал его, но сейчас вижу, что это было другое слово. То слово было для меня, а не для тебя. Я должен найти такое слово, которое будет для всех.

– Найдешь! – произнес Лесник и направился в огород, сопровождаемый курами с недоверчивыми глазами. „С каких пор я ищу это слово и не могу найти, – подумал он, – где уж тебе!“

## ИСТИНА

Лесник вернулся домой, когда уже стемнело. За фруктовыми деревьями тихо, как послушная жена, ждал его дом. В нижней комнате горел свет. Он прошел по выложенной плитками дорожке ко входу – уставший, заросший щетиной, с привкусом горечи во рту. Ноги горели и гудели. Сев на порог, снял тяжелые ботинки с подковками, покрытые пылью. Потом взял таз, налил в него ведро воды из колодца и погрузил в нее ноги. От холодной воды они словно еще больше отяжелели, вся усталость скопилась в них, но немного погода стала проходить, растворяться, сменяясь ощущением блаженства. Он закрыл глаза, и тут же перед ним возникла картина недавнего заседания, он услышал голоса выступавших, скрип карандаша в руке ведущего протокол, кашель Жоро и пыхтение вечно недовольного председателя, любившего задавать вопросы, не дожидаясь на них ответа.

– Не спи! – сказал ему председатель. – Партийному секретарю не положено спать, ты должен выразить свое мнение по обсуждаемому вопросу.

– Я не сплю, – вздрогнул Лесник, – но если бы ты глаз не сомкнул двое суток, то и ты бы заснул, да так, что не проснулся. Я целый день мотался по полям.

– Я тоже мотался, – парировал председатель, – уж не думаешь ли ты, что я прохлаждался в тенечке? Все мы по целым дням мотаемся, но ты не спи, нам надо обсудить еще тринадцать пунктов повестки дня!

Обсудив последний пункт с обычными спорами, они вышли, выпустив наружу клубы табачного дыма. Затем Лесник вернулся домой, опустил ноги в таз с холодной водой да так и заснул, сидя на пороге.

Проснулся он от ощущения глухой тоски. Она пришла к нему во сне и так сдавила грудь, что стало трудно дышать. Он не мог понять, почему ему так тяжело, так тоскливо, лишь вздохнул. Вынув из таза ноги, ставшие легкими и быстрыми, он пошлепал внутрь дома. На еще теплом цементе остались мокрые следы.

Войдя в нижнюю комнату, он сперва увидел лекарства, выстроившиеся на полочке. Жена его спала. Ее лицо на высокой голубой подушке было спокойно. Электрическая лампочка светила прямо в него, но ему это было словно бы безразлично. Лесник тихо подошел к постели и взял руку жены. Ему захотелось ее погладить. Но тут же удивился, почему она такая холодная. Внезапная мысль пронзила его насквозь, одним махом разрубила ледяным ножом сверху донизу, и он остался стоять с тяжелой холодной рукой в своей руке, разрубленный пополам, но живой.

– Мария! – позвали его губы откуда-то издалека.

Она не отозвалась. Лицо спало. Лесник схватил обеими руками голубую подушку, приподнял ее и потряс.

Потом отпустил. Лицо упало вместе с подушкой, повернутое к нему. Фиолетовые губы были слегка раздвинуты, и виднелась белая полоска зубов; Лесник не мог отвести глаз от этой таинственной и нежной белизны, совсем живой в застывшем немом рту.

Необъяснимая глухая тоска отпустила, осталась жестокая реальность – живой Лесник наедине с мертвой женой. Осталась смерть – в остывающем теле, в тяжелых белых руках, в спокойном, странно сосредоточенном лице с обострившимися чертами. Лесник



медленно поднялся и погасил свет, чтобы не смотреть на них. Белая полоска зубов исчезла в темноте.

И тут к Леснику вернулась вся его жизнь – обрывками воспоминаний о разных годах и разных временах года: женитьба, рождение детей, погони в ночной тьме, перестрелки в овраге, широко раскрытые глаза Марии, вобравшие в себя весь ужас перед лицом подстерегающей его отовсюду смерти, его кровь на кусте бузины, гнилой запах болота, дурманящий аромат цветущей ромашки. Лесник помчался босоногим мальчонкой к Верхним выселкам с камнями за пазухой, с дикой ненавистью в душе – дзинь! – стекло в окне корчмы вдребезги, а спустя секунду чья-то потная волосатая рука хватает его за ухо и поднимает в воздух. Камни еще за пазухой, они тянут к земле, и мальчонка падает на нее, ударяется о нее лицом... Картины его жизни неслись галопом по темной комнате и исчезали. В постели лежала его мертвая жена, а он стоял перед ней – босой и беспомощный.

Однажды он ее ударил. Она упала, как труп, и только когда заплакала тонким голоском, он понял, что она жива и что все в порядке. Повернувшись, он ушел, неся в себе чувство вины и стыда. Возвратившись домой вечером, набросился на нее и бурно обладал ею, насильно вытащив из-под одеяла. Спустя годы после этого случая, когда полиция повсюду его искала и полицейские избивали ее во дворе, он проскользнул темной ночью через все засады и долго плакал, положив голову ей на колени. Тот удар оставил в его сердце кровоточащую, незаживающую рану.

Но она заболела – сердце. У нее было сердце верной и работающей жены, тихое и кроткое. Но никакие лекарства не могли ему помочь. Долгие ночи уставший от работы и заседаний Лесник сидел возле ее постели,

рассказывая, как прошел день, как они спорили, мерили луга, как в него стреляли, как они пахали и толкали застрявший трактор, как пустили воду в канал, как он лично отстреливал собак. Она молча слушала, и Лесник знал, что она понимает его и прощает.

Теперь ее не было. Некому его прощать, некому рассказывать свои несбыточные мечты, доказывать, что прав во всем, в глубине души сознавая, что не так-то уж и прав, что нечто от него ускользает, что именно из-за этого он упорно стремится к ней, чтобы получить подтверждение собственной правоты в кротком взгляде светлых глаз, в ее молчании.

Стоя посреди темной комнаты, он пытался собрать воедино отрывочные картины своей жизни, но это ему не удавалось.

– Мария, – произнес он, скорее себе, чем ей.

В нем она была еще живой, теплой, она хотела разговаривать, плакать, смеяться; она молотила его кулачками, стараясь выйти на волю, на свободу. Весь напрягшись, застыв в неподвижности, Лесник слушал ее мольбы, устремив взгляд в темноту, туда, где лежало ее мертвое чужое тело. Там лежала его мертвая жена, живая же бушевала в нем.

Она заставила его выйти наружу. Лесник вышел на дорогу и двинулся по ней, подчиняясь голосу жены. Скоро он его остановил. Лесник даже не понял, чьи это ворота. Он стал в них стучать и одновременно с ударами руки и стуком своего сердца, наконец, понял, к кому он пришел. Появился хозяин в накинутом пальто, тревожно поглядел на Лесника, ища глазами за его спиной еще кого-то. Никого не увидев, успокоился, спросил хрипло:

– Ну чего расстучался в такой поздний час?.. Когда ты появляешься в такую пору, я уж знаю, что меня

ожидает... Подумал, что опять газик за мной приехал...

– Спас! – крикнул Лесник, схватив его за руку. – Спас, пойдем со мной!

Спас увидел его босые ноги, почувствовал дрожь руки и совсем успокоился насчет того, что предполагал. Но душа его дрогнула от чего-то, еще более страшного, и он испугался. Чтобы подавить это страшное, умертвить охватившее его чувство жалости, он язвительно рассмеялся, но Лесник не услышал его смеха.

– Что случилось? – спросил Спас, оборвав смех.

– Мария... – промолвил Лесник. – Мария умерла!

Спас промолчал. Они пошли вместе по темной каменной дороге. В ночной тишине слышно было, как прыгают лягушки. Оба молчали. Когда свернули возле оврага, из-за темных домов появилась тень, приблизилась к ним.

– Я видела, как ты вышел из дому босой, Лесник, – сказала бабка Неделя. – Наверное, Мария преставилась.

– Да, Мария, – эхом отозвался Лесник.

– Упокой ее душу, господи, – прошептала бабка Неделя, крестясь. – Пойдемте!

Втроем они вошли во двор, по плиточной дорожке направились к дому. Бабка Неделя прошла прямо в комнату умершей, затем, показавшись на пороге, крикнула:

– Лесник, не майся, а разожги огонь, согрей воду, чтобы обмыть покойницу! Что ты на меня уставился? Давай дело делай!

Она снова исчезла в комнате, зажгла там свет. Лесник, словно пьяный, совался то туда, то сюда, натыкаясь на столбы и на лестницу, но голос Марии стал его направлять: она словно шептала ему, откуда взять дрова, как разжечь огонь, как и на каком крюке подве-

сидеть над ним котел, как открыть сундук с ее одеждой. Все это время Спас сидел под навесом. Все сделав, Лесник сел рядом с ним. Из комнаты уже доносились знакомые причитания бабки Недели.

– Боже-е-е!.. – тихонько голосила бабка Неделя. – Зачем ты взял ее у нас, куда повел?.. На кого ты нас оставила, Мария, почему не сказала, что уходишь? Ох, какие у тебя холодные рученьки, Мария, слышишь, Мария, как притих твой дом, как притихли деревья и листочки... боже-е-е!

Сидя под навесом, мужчины слушали. В какой-то момент Спас зашевелился. Лесник произнес дрожащим голосом:

– Спас, не уходи!

– Хорошо, не уйду! – глухо отозвался Спас.

– Не оставляй меня, Спас! – сказал Лесник.

– Не оставлю, – еще глуше проговорил Спас. – Ты прекрасно знаешь, что я тебя не оставлю. А то... ну, что ты приезжал ночью на газике... что два раза вы меня туда посылали... оставим это, вообще про это не думай. Ежели я был бы на твоём месте, и я, наверно, послал бы тебя туда... – Спас умолк, потом добавил, тяжело дыша: – Когда я услышал ночью твой стук, подумал – это они, опять за мной, мало им, что я четыре года кормил своей кровушкой комарье, плотины строил... Как увидел тебя, сказал себе – вот он опять, мало ему, снова решили меня услатить... а ты пришел один, босой...

– Не оставляй меня, Спас, – повторил как во сне Лесник.

– Не оставлю! – твердо заявил Спас. – Ты очень хорошо знаешь, что я тебя не оставлю.

Они замолчали и снова стали слушать причитания бабки Недели. Она поверяла миру истину о Марии и рассказывала притихшей Марии истину о мире.

## ЗЕМЛЯ

Над стеблями помидоров показалась седая голова с белоснежной бородой. В очень белых, словно присыпанных мукой руках лежало несколько красных помидоров. Дед Стефан погрузил их в ведро с водой, а когда вынул, помидоры заблестели, как полированные. Он нарезал их старым ножом в голубую эмалированную миску, и она наполнилась на треть красным соком. Дед резал помидоры, а внук молча наблюдал, как когда-то, в давние времена, на бахче возле реки, где дедушка Стефан так сосредоточенно и спокойно делал овощной салат. Стоя в холщовых штанах и неизменных постелах возле стола, вынесенного на траву, дед пытался скрыть волнение и радость, вызванные приездом внука. Он налил в стопки ракию – желтую, маслянистую, специально сохранявшуюся в бочонке из тутового дерева. Стопки были в пятнышках от известковой воды, но ракия потекла в них, как подсолнечное масло, и скрыла пятнышки. Все сияло: медно-красное лицо старика, его по-детски голубые глаза, помидорный сок в миске, погоны на плечах внука. И маленький голубой домик, утопающий в пышной зелени, тоже весь светился и сиял.

Они сделали по глоточку. Дед Стефан держал стопку двумя пальцами, как держат покупную, городскую вещь, осторожно, чтобы не уронить или попортить, и внук, привыкший производить руками деловые, бесцеремонные движения, сейчас словно впервые заметил

это. Нет, его дедушка всегда так относился к вещам – бережно, словно боясь выронить или поломать. Старик осторожно поставил стопку на стол, закусывать не стал. Его белые ладони легли на колени, а внук выпустил табачный дым, и синеватые колечки ласково коснулись рук старика.

– Да-а, – протянул дед Стефан, оглядывая внука прищуренными глазами с белыми ресницами, будто взвешивая его достоинства. – Стало быть, внучек, ты летаешь по небу! Откуда начал, а вон куда забрался – скоро поднимешься и в Космос!

– А что – поднимусь! – улыбаясь, отозвался внук, гордо распрямив широкие плечи под накинутой на них курткой.

– Почему ты не взял с собой аэроплан? – спросил старик, мигая от яркого солнца. – Прилетел бы на нем, чтобы все тебя увидели.

– Здесь негде приземлиться, – ответил внук, подцепил на вилку ломтик помидора и с аппетитом съел. Потом сделал еще глоток ракии. На стопке вновь проступили пятнышки, теперь уже желтоватые. Дед Стефан долил стопки из бутылки, и пятнышки исчезли. – Для приземления мне нужна бетонная полоса длиной в пять километров... Я не могу приземлиться на пшеничном поле.

Дед Стефан представил себе пятикилометровую бетонную полосу, летящего на аэроплане внука, но не мог разобрать, взлет ли это или посадка: полоса смешалась с полем, сам он вдруг сделался внуком, а после второго глоточка в голове у него вообще все перепуталось. Чтобы прийти в себя, он спросил:

– Все это хорошо, внучек, а вот что ты будешь делать после?

– Когда – после? – с недоумением откликнулся внук:

для него этого слова вообще не существовало.

– После, в конце. Будешь летать, летать и после приземлишься. А где приземлишься, можно тебя спросить?

– Ну, приземлюсь, а потом снова взлечу.

– А до каких пор будешь летать? – настаивал старик, его голубые глаза расширились. – До каких пор, спрашиваю?

– Откуда я знаю, дедушка! До тех пор, пока служу...

– Пока не выйдешь на пенсию. А когда выйдешь на пенсию, можно тебя спросить, где приземлишься?

Внук рассердился: о пенсии он вообще никогда не задумывался. И подосадовал: мог бы сейчас лететь, пробирая облака, устремляясь вдаль, вдаль... туда, где исчезали мелкие, приземленные мыслишки, а вместо них рождались чудесные свободные мысли, где мечты и скорость сливались воедино... Деду-то хорошо: сиди себе в голубом домике, рви помидоры в огороде и задавай вопросы: где да где приземлишься? „ Откуда мне знать, где? Если потребуется, и в другом районе, а может, придется и катапультироваться, – думал внук, – некоторые из нас вообще не приземляются... А деду – ответ подавай!“

– Знаю, где ты приземлишься, – медленно произнес дед Стефан. – Сказать? В городе, вот где. И никакой пятикилометровой полосы тебе не потребуется для этого. Все там приземлились. – Он надулся, как мальчуган, и внук рассмеялся.

– Ну, дедушка, какой ты! – добродушно сказал он. – Сейчас вся жизнь переносится в город. Современная промышленность, техническая революция, все бурлит, меняется. Сколько раз мы тебя звали – приезжай, квартиру нам дали, обставлена по-современному, телевизор и так далее, питание хорошее, живи – не хочу! А ты – здесь жить буду!

– Да, здесь! – крикнул старик. – Я, внучек, давно уже взлетел и приземлился вот здесь! И не надо мне никакой полосы. Знаешь, что мне надо?

– Что?

– Двухметровая яма. И когда я лягу в нее, никто уж меня из нее не вытащит.

Внук махнул рукой:

– От этой ямы, дедушка, никому не уйти, но лучше о ней не говорить. Никто не знает, когда она ему потребуется.

Они молча выпили, затем долили стопки.

– Эх, дедушка! – вздохнул внук. – Жизнь сейчас совсем другая... Столько всего изменилось – будто тысяча лет прошла! Если посмотришь на мир с высоты в двадцать километров, увидишь, как мелки наши земные заботы, трудности, с которыми мы боремся, которые нам мешают.

– Мне не нужно подниматься на двадцать километров, – тихо произнес старик. – Я видел этот мир повсякому – и в ширину, и в длину, и с высоты он такой же. И с фронта его видел, и из-за границы, когда работал огородником. Не говори мне о мире, знаю я его.

– Ты знал мир, каким он был раньше, а сейчас он изменился, – сказал внук. – Сейчас все другое. И человек другой.

– Все другое! – вскипел дед Стефан. – Если все такое другое, почему убили мою собаку? Ежели мир поднялся в высоту на двадцать километров, чем ему помешала моя собачка, для чего было ее убивать?

– А почему убили? – удивился внук. – Может, она отравилась?

– Не отравилась. Собрал их Лесник в кучу, и каждой собаке по пуле в ухо. Вроде появилась какая-то болезнь, и было приказано всех застрелить. У моей со-



бачки не было никакой болезни. У нее были такие кроткие глаза, она всем доверяла. Словно человек улыбалась. Когда я с ней говорил, она слушала, как человек, даже лучше. А когда гладил, она вздрагивала – такая была тихая и кроткая. Ежели так, то и меня пусть убьют, раз это показывает, что мир изменился! Тьфу! – Старик плюнул, глаза его увлажнились.

– Случаются безобразия, – сказал внук, не понимая, для чего было убивать всех собак в селе. – Мы, дедушка, – молодое государство, у нас не хватает кадров, много трудностей, вот какая-нибудь глупая голова и придумала застрелить всех собак... Конечно, надо думать и о гигиене, и о здоровье... но убивать собак... – Внук запутался и добавил: – Ты, дедушка, на эти вещи не обращай особенно внимания. Есть дела поважнее, на них гляди!

– Ни на что не хочу я глядеть! – проворчал старик. – Я не говорю, что нет важного, но знаю одно: все может измениться, но человек, как был дерьмо, так им и остается! Как его ни украшай, что ему ни давай, хоть заводами окружи, хоть в Космос пошли – каким он был, таким и будет!

– Рассуждаешь, как враг, – разозлился внук. – Если бы еще был богачом, а то всего тридцать соток бахчи имел, и те сто лет будешь оплакивать!

– Враг? – в изумлении поднялся с места старик, огляделся вокруг, не веря, что сказано это о нем. – Кому я враг, если можно спросить?

– Себе, – смягчил тон внук, почувствовав, что переборщил. – Себе ты враг, раз печалишься из-за каких-то жалких тридцати соток.

– Не из-за тридцати, а из-за тридцати двух, – тихо произнес дед Стефан, – но не в них дело. Земля мерится не сотками, внучек, тебе этого не понять, хоть раньше

приносил ты мне торбу с зерном на поле, сеял и полол вместе со мной. Сеяли мы вместе, но не жали вместе. Нива может всем стать, ежели земля разрешит. Позволила она и мне сделать ее бахчой, чтобы вам помогать, вас кормить, потому как мне одному много не надо, мне и двух соток достаточно...

Обведя рукой при последних словах свой маленький огородик, дед Стефан умолк. Вытер белой ладонью слезу, выкатившуюся из голубых глаз. И внук устыдился, что обидел деда. Перестал отпивать глоточки и закусывать, помидоры высыхали в голубой миске, две слегка тронутые ржавчиной вилки напрасно указывали на них. Потом старик сказал:

– Ты, внучек, оставь наши дела... Вижу, далеко ты от них, ни к чему они тебе. Мы люди простые, к земле привязанные, отвязать нас некому. Жаль нам ее...

– Кого?

– Землю. Лежит она, послушная и бессловесная, никому зла не делает, только кормит нас и терпит. Ругали мы ее – она зерно дает, проклинали – она снова дает. Топчем мы ее – не обижается. Ходим по ней, а она нас слушает, молчит, знает, что мы ее дети, и ждет, когда мы к ней вернемся. Но для чего я все это тебе говорю, ты не можешь меня понять, потому как ты – небесный человек.

– Никакой я не небесный! – вспыхнул внук. – Я тоже здесь родился, но от вашей земли, слава богу, отвязался. А то и я ползал бы сейчас по ней и оплакивал ее. Скажи, вот ты так сильно любишь эту проклятую землю, – видел ты от нее что-нибудь хорошее?

– Все, – задумчиво произнес старик. – Все, что я видел, – все от нее. У меня и глаза из земли, и уши, и кровь – все из земли. Стучит она во мне, хоть я и старик, кипит, живет. Будит она меня, заставляет встать и обойти

огород. И на небо когда смотрю, о земле думаю. Когда ступаю я по ней, ничего мне не страшно. А ты, как летаешь в вышине, знаешь ли, докуда доходит небо?

– Небо – понятие относительное, – с досадой сказал внук. – Это пространство во Вселенной, бесконечность, в которой находится столько планет и небесных тел, сколько песчинок на земле. Вот что такое небо, дедушка. И мы на нашей маленькой планете вращаемся в нем и думаем, что мы – пуп Вселенной.

– Ты сказал – понятие? – спросил старик.

– Да, понятие! – упрямо повторил внук и подцепил вилкой кусочек помидора.

– Не знаю, – проговорил дед Стефан, прислушиваясь к хрусту, с каким внук жевал помидор, – может, оно и в самом деле понятие. А для меня небо – это небо от Кралева холма до Балканских гор и от Урукского водопоя до лиственного леса. Его я наизусть знаю. Знаю каждое облачко – откуда плывет, куда, что с собой несет. Может, в твоём понятии много всяких планет и звезд, но я знаю вот эти, наши. Сейчас день, но они там, на месте, и если вечером будет ясно, снова покажутся. Мне не нужно подниматься в небо, чтобы его узнать, – мне его и отсюда видать.

– Ничего отсюда не видно, – с улыбкой произнес внук. – Ты, дедушка, не знаешь, как в вышине. Летишь – человеческая пылинка в бесконечности – обгоняешь скорость звука, слившись с ним и со Вселенной, и все же движешься благодаря собственным силам наперекор законам природы, ее ограничениям... Есть нечто великое, дедушка, в том, что человек преодолевает все препятствия и осмеливается проникнуть в самые сокровенные тайны природы, жизни, вечного движения... Ты говоришь, что видишь небо, – добавил внук – лицо его озарилось вдохновением, – но оно бесконеч-

но, и никто ничего не может увидеть, не погрузившись в него...

– Для меня не бесконечно, – возразил старик. – Я свое небо знаю – и начало его, и конец – как свои пять пальцев. – Подняв руку, он растопырил пальцы. – Вот так его знаю.

Внук молчал. Он жалел доброго старика. Ничто не могло изменить этих людей: так они жили, такими и умрут – недалекими, невежественными, отсталыми. „Каждый – дитя своего времени, – думал внук, – что хочешь ему объясняй, открывай, он на своем стоит. Дедушка упрям, как мальчишка, но вообще-то славный старик!“ И, вздохнув от жалости и любви к деду, внук уже вслух сказал:

– Давай не будем ругаться! Ты знай свое небо, а я – мое. Ты уже приземлился, а я еще летаю...

– Ну и летай, – рассеянно отозвался дед Стефан. – Никто тебе не запрещает. И ко мне всегда добро пожаловать. Я горжусь тобой, внучек, всем в селе рассказываю, какой ты орел, только вот не могу тебя понять. Может, я в этом виноват.

– Ты, дедушка, не виноват, просто ты так привык.

– Привык, это верно. На бахче до сих пор стоит старый журавль, ты, наверное, уже забыл его.

– Нет, не забыл.

– Это хорошо. Так вот, держится еще этот журавль, очень прочным оказался. Столько бурь пронеслось, деревьев с корнями повырывало, столько половодьев было, река все берега размывала и изменила – а журавль стоит, как стоял. – Дед Стефан оживился, глаза его заблестели. – У него тоже свое небо, он на него указывает. Я хожу к нему в гости, мы с ним разговариваем и друг друга понимаем, хоть он и молчит и вместо него должен отвечать я сам. Журавль со всем соглашает-

ся. Прихожу я, ложусь в траву с ним рядом и смотрю на бахчу, открываю ее под кукурузным полем. Гляжу, гляжу, пока глаза не заболят, потом встаю, а журавль тут, на месте, хотя нет уже ни веревки, ни ведра, да и зачем они ему, когда нету уже у меня бахчи, нечего мне поливать. И бричку я продал совету, будет служить катафалком, чтоб отправлять стариков в последний путь. – Дед Стефан умолк, поглядел на руки и добавил: – Слушай, внучек, есть у меня один родительский завет, я его и буквами напишу, чтоб все вы знали, а то большому роду положил я начало, а сейчас здесь один-одинешенек.

– Скажи его, дедушка! – Голос внука дрогнул.

– Сейчас скажу. Ты старший из внуков и самый сильный, раз поднялся в небо, чтоб покорить его. Когда я умру, ежели приедете меня хоронить, заройте меня возле моста, рядом с журавлем у колодца – мы с ним крепко дружили.

– Хорошо, дедушка, – печально промолвил внук. – Но рано еще говорить об этом. Никому не известно, когда это произойдет.

– Верно, никому не известно. Но я хочу заранее знать, где буду лежать. Ты скажи это и братьям, и отцу своему Христо, и двоюродным братьям – всему нашему роду, а я напишу и буквами – учителя Димова попрошу, чтоб красиво написал, – мол, дедушка хотел, чтоб похоронили мы его рядом с журавлем, чтоб лежал он там, а журавль на небо ему показывал. Скажи им, чтоб оставили журавль, он никому не мешает, а я и Леснику скажу, и он согласится, раз это не будет мешать ни государству, ни кооперативному строю. Не забудешь, внучек?

– Не забуду, дедушка, – сказал внук и смущенно добавил: – Но, дедушка, место там не очень удобное, ког-

да-нибудь река дойдет до него, знаешь, как она подмывает берег.

– Знаю. Я эту реку наизусть знаю, но скажу тебе вот что. У твоего дедушки Стефана была на этом месте земля, а его земля сильная. Боролся я с этой рекой, целых две сотки она у меня отняла, но больше я ей ни пяди не отдам! Как построили плотину, целых десять лет река ни метра земли не унесла. Ты, внучек, насчет этого не беспокойся, земля не дастся реке... Скажи, чтоб там меня похоронили, а об остальном есть кому позаботиться...

Внук не спросил, кого он имеет в виду. Поднял свою стопку, и оба выпили. На миг земля и небо словно слились в одно целое, помирились, а когда кто-то мирится, наступает молчание.

## ГЕНЕРАЛ

В тени ореха спали женщины. Их сторожила серая кожаная сумка. Над ними кружились большие мухи, муравьи переползали через них, как через горы, но женщины спали, свернувшись, как младенец в утробе матери, и раскрыв рот. Рядом с каждой в колышущейся светотени лежали на земле снятые галоши. По ним тоже ползали муравьи в неутомимых поисках съестного или чего-нибудь еще, что могло пригодиться. У женщин были широкие желтые ступни с загрубевшей кожей от ходьбы по тропинкам и дорогам, от бесконечного движения по грядкам и бороздам, а на лицах – много морщин, особенно возле глаз, где самая нежная кожа.

За длинной полосой кустарника, протянувшейся через поле, прошла их жизнь. Каждая пядь земли была ими обработана – вспахана, засеяна, прополота. Эта земля знала их – старых, приземистых, загрубевших женщин – с самого их рождения, когда были они веселыми и шаловливыми детьми.

Теперь это была бригада, работавшая на поле, прилегавшем к полосе зеленого кустарника.

Сейчас женщины летели куда-то во сне – вверх и вниз, вверх и вниз в бескрайнем мягком и теплом пространстве, убаюкиваемые усталостью, а высокий раскидистый орех махал им ветвями, словно крыльями. Во сне они вздыхали, расслаблялись или еще больше съеживались: одни испытывали неземную жару, другие – потусторонний холод. Солнце пробивалось сквозь

горькие листья ореха, даже в тени он пахнул горечью и дурманом.

Кому было здесь смотреть на них, как они спят в тени, как согревшаяся плоть оттаивает, пускает жилистые корешки в землю, покрытую листвой и опавшими гнилыми орехами, как стук сердец передается земле, а земля передает эту дрожь каждому листочку, каждой травинке! Лишь муравьи ощущали этот трепет и растерянно сновали по спящим женщинам, как по горам, не находя того, что искали.

Сидя на камне на бугорке, Генерал смотрел на спящих. Они напоминали ему бойцов после сражения, заснувших мертвым сном возле своего оружия. Внизу расстилалось поле боя, ветер гнал по нему пыль от сухой рассыпчатой земли. Казалось, будто то тут, то там рвались бесшумные снаряды, нащупывая командный пункт невидимой армии.

Генерал уже давно был реабилитирован: ему вернули все ордена, назначили высокую пенсию, но сейчас у него не было бинокля, чтобы посмотреть, откуда движется неприятель, каково расположение его главных сил.

Он вышел немного размяться после того, как писал всю ночь напролет. Он описывал все, что сохранилось в его памяти за слишком долгую и слишком короткую жизнь. Каждое событие он рассматривал со всех сторон, и иногда ему казалось, что жил он совсем мало, что только вчера научился ходить и началась его жизнь. Но были и другие моменты, когда, прослеживая длинный ряд событий в их неумолимой последовательности, выявляя их причины и следствия, он приходил в изумление: его жизнь была такой долгой, будто он прожил тысячу лет! И тогда он ловил себя на том, что в историю своей жизни включил случаи и со-



бытия, рассказанные другими людьми или прочитанные где-то, а также всякие истории о разных странах и эпохах, и что не раз он сам появлялся в таких обстоятельствах и в такие времена, где никак не мог быть, – просто он это знал. Поэтому нельзя было сказать, что Генерал пишет мемуары. Он просто писал – так много и о стольком, что устал и поэтому пошел пройтись. Увидев спящих под орехом женщин, Генерал остановился и сел на камень. В голове у него уже рождались строки, которые он напишет о женщинах, об орехе и о поле. Он должен был писать обо всем: генерал всегда остается генералом, который должен все видеть и все понимать.

В это время со стороны виноградников появился Босьо с баклагой в руке. Он часто ходил по этой тропинке, но еще никогда не встречал на ней Генерала, тем более не обыкновенного генерала, а такого, который пишет по целым ночам. Генерал стучал на пишущей машинке, и все жители села, кому доводилось проходить мимо его родного дома, говорили про себя: „Генерал пишет!“

– Эй, Босьо, куда путь держишь? – спросил Генерал.

– За водой, вот эту баклагу налить, – ответил Босьо.

– Не ожидал встретить тебя здесь. Ведь ты пишешь!

– Я ж не пишу непрерывно, – пожал плечами Генерал. – Днем хожу на прогулки, чтобы рассеяться...

– А я, когда хожу, сосредотачиваюсь, – задумчиво проронил Босьо. – Я дома один как-то рассеиваюсь: столько мыслей меня одолевает, что не могу их собрать, как у наседки цыплята – разбегутся по сторонам, попробуй собери!

– У каждого по-своему, – заметил Генерал. – Вот и теперь, смотрю я на этих женщин, которые строят наш социализм, как они спят под орехом, и думаю о многих вещах.

– О каких? – Босьо широко раскрыл глаза, поставил

баклагу на землю возле ног Генерала в покрытых пылью военных сапогах.

– О самых разных. Слушай, Босьо, ты ведь говорил мне, что ищешь какое-то слово после того, как молчал целых пятьдесят лет?

– Да, ищу, – ответил Босьо и помрачнел: – Но до сих пор не нашел.

– А я нашел, – сказал Генерал, – здесь, в родном селе нашел, в отчем доме. Если б не нашел, так и пришлось бы умереть, не зная, как много слов существует на свете и все они вмещаются в одном-единственном слове.

– В каком? – глухо спросил Босьо.

– Слово это – истина, – тихо ответил Генерал. – Его недостает всем нам, мы все стараемся его обойти, не замечать, скрыться от него подальше...

– Но это не то слово, – разочарованно произнес Босьо. – Оно не может ответить на все вопросы. Для меня истина – одно, для тебя – другое. Истина неодинакова для всех. Она как зерно: посеешь его на одном месте, оно взойдет одним манером, посеешь на другом – взойдет другим манером. Это слово, Генерал, не дает ответа на все, – грустно заключил он.

Генерал остановил взгляд на спящих женщинах. Ему показалось, что он всегда сидел на этом камне, перед ним возвышался развесистый орех, а в его узорчатой тени спали женщины. Показалось, что всегда возле него стоял с пустой баклагой Босьо, ищущий слово, дающее на все ответ, и не находящий его. „Может, это – момент истины? – спросил себя Генерал. – Время остановилось, события твоей жизни, скорби и радости – все исчезло, унесенное ветром. Остался лишь миг, в который ты – все равно кто: генерал или простой крестьянин – слился с камнем, с орехом, со спящими женщинами, чтобы никогда уже от них не отъединиться“.

Он молчал и пытался задержать это мгновение, ощущая небесное спокойствие этой гармонии, не желая потерять его ни за что на свете.

Босьо тоже молчал. Он молчал целых пятьдесят лет, пока не услышал своей птички, прилетевшей снова на его тополь, и мог молчать еще пятьдесят лет, если не найдет слова, которое она ему пропела. Босьо почувствовал волнение Генерала и догадался, что что-то произошло, но не понял, что именно. Ему показалось, что женщины не случайно легли отдыхать под этот орех, Генерал не случайно пошел этой тропинкой, а сам Босьо совсем закономерно именно в это время отправился за водой. И впервые с того момента, как он начал говорить, Босьо испытал желание молчать и не искать никакого слова.

Но мгновения улетают, словно птицы, и мы не понимаем, почему так происходит, и не можем их остановить и удержать. Когда Генерал почувствовал себя снова отъединенным от ореха и от женщин, ему захотелось сказать это вслух. Но Босьо его опередил.

– Лучше бы я не начинал говорить, – печально произнес он... – Вот сейчас ко мне пришло одно слово, такое огромное и важное, что я просто не смогу носить его в себе. Я понял, Генерал, что, какими бы огромными и важными ни были слова, они не могут всего выразить. Потому слов так много, потому человек употребляет их в избытке: он никогда не говорит слова, которое вмещало бы в себе все остальные.

– А что пропела тебе птичка? – спросил Генерал.

– Все, – ответил Босьо. – Когда я услышал ее голос, я понял, что ничего больше не может быть.

– Наверное, это момент истины, – сказал Генерал, вновь остановив взгляд на спящих женщинах. – В какой-то миг вдруг прозреваешь, тебе становится ясно

все – и хорошее, и плохое, и вечное, и преходящее. Назови это движением, жизнью, свободой – как хочешь, все равно будет мало.

– Точно, – согласился Босьо, – все равно будет мало.

– Смотрю я на этих спящих женщин, – продолжал Генерал, испытывая необычайное просветление мысли, будто не услышав Босьо, – смотрю, и хочется мне, чтоб я всегда здесь оставался, а они чтоб никогда не просыпались. И мне будет хорошо, и им. И чтоб рядом со мной был ты, Босьо, с этой пустой баклагой, и чтоб ты не уходил за водой, а все время находился тут. Вот чего мне хочется, – завершил Генерал, задохнувшись и покраснев.

– Не получится, – проронил Босьо спустя немного времени. – Оно ушло.

– Что ушло? – вздрогнул Генерал.

– Оно, – ответил Босьо и убежденно продолжал: – То, которое заставляет нас остановиться, задуматься и не хотеть больше ничего. То, которое поворачивает нас к самим себе. Вот ведь как – сколько времени прошло с тех пор, как птичка пропела мне то самое, но или из-за того, что я его знаю, или по какой другой причине оно все больше и больше от меня убегает... – Он на миг умолк и облизал губы: – Чем больше дней проходит, тем больше оно убегает... Остались мне одни пустые разговоры – людям надоедать, да и себе тоже. А то, что птичка пропела, я уж никогда не верну!

– Ты прав, – задумчиво произнес Генерал. – Теперь будешь говорить до конца жизни, не упоминая истины. Будешь носить ее в душе и сердце днем и ночью, но не сможешь выразить.

– Почему? – жалобно спросил Босьо. – Почему?

– Не знаю. Знаю, что так бывает, но почему – не знаю. Потому я и пишу по целым ночам, потому и не сплю. Знаешь, сколько листов я исписал?

– Сколько?

– Тысячу четыреста двадцать три листа! И ничего не рассказал. Только одни слова, слова...

– Точно так и у меня, – оживился Босьо. – С тех пор, как я заговорил, наверное, миллион слов произнес, а еще ничего не сказал. И теперь что – снова замолчать?

– Нет! – строго молвил Генерал. – Раз ты заговорил, будешь говорить до конца жизни, как и я буду писать до конца моей жизни. И кому-нибудь из нас рано или поздно удастся сказать что-либо истинное. Раз мы живем в своем селе, в своих родных домах и нет у нас других забот, будем делать свое дело.

– У меня нет никаких забот, – произнес Босьо. – Детей я вырастил, дал им образование, дальше они сами управятся. Работаю в кооперативе, от работы не отлыниваю, зарабатываю столько, сколько мне нужно. А человеку нужно очень мало – вот что я понял.

– Знаю, – кивнул Генерал. – Раньше я этого не знал, а теперь знаю. Ничего мне не нужно, кроме бумаги и лент для пишущей машинки, а также немного пищи. Есть у меня дом с двором и огородом, могу кое-что сажать и иметь свое. Пенсия у меня большая, я ее внукам посылаю, мне деньги не нужны.

– Смотри-ка ты, ты ведь генерал, а говоришь, как крестьянин, – удивился Босьо.

– Какой я генерал, – сказал Генерал, хотя прекрасно знал, что генералы всегда остаются генералами. Я крестьянин. Крестьянином родился, крестьянином и умру... И Американец здесь родился, здесь и умрет, хотя и был в Америке. Только прозвище у него осталось, а так как был, так и есть крестьянин.

– Верно, – кивнул Босьо. – Для нас он односельчанин, хоть мы и зовем его Американцем, он даже приходится мне двоюродным братом. А ты, может, и кре-

стьянин, но мы будем звать тебя Генералом, потому как в нашем селе других генералов не было и больше не будет. А ты живи с нами, пиши, но все равно ты генерал.

– Да, я генерал, – сказал Генерал. – Я тоже иногда думаю, что я только крестьянин, но знаю, что себя обманываю. Раз я был генералом, генералом и останусь.

Он замолчал. Умолк и Босьо, поняв, что на сегодня они исчерпали свои слова. Он вспомнил, что на винограднике его ждут с водой, и, взяв пустую баклагу и махнув Генералу, побежал вниз по тропинке.

Генерал встал. Женщины под орехом стали просыпаться. Они потягивались и зевали, восклицая и перекидываясь шутками. Муравьи соскакивали с них на землю, так и не найдя того, что искали. Генерал двинулся вперед по тропинке. Его железная палка равномерно вонзалась в землю, оставляя маленькие отверстия, словно за Генералом должен был пройти какой-то человек и в них что-то посадить.

## КОРНИ

В этот час и ночь, и утро спали. Свет и тьма смешались в небе, как смешиваются в человеческой душе добро и зло. Горы и равнины, реки и села притихли во сне, охранявшем бьющую ключом жизненную силу от разрушения. Камни и летучие мыши медленно – миллиметр за миллиметром – двигались вместе в этом ночном круговороте, который с начала света пытался направить всех животных и растения, сушу и воду, человека и зверя к одной цели.

В этот час в селе не спят лишь петухи. Но это не бодрствование и не пробуждение. Это рождение в крови звука, устремляющегося в петушиное горло, долго молчавшее во сне и сладком забытьи. Звук приводит в действие все силы птицы, вскидывает ее на шест в курятнике, на дерево или забор, поднимает ее голову к темному или светлому небу и вырывается наружу, взлетая все выше и выше. Этот звук – боевая труба человечества, возвещающая начало нового дня.

Генерал проснулся еще до трубы, а если точнее – он вообще не засыпал. Ему хотелось преодолеть законы природы и законы сна и бодрствования. Он не мог лечь спать, прежде чем не изложил на бумаге свои путанные мысли о жизни, прежде чем не привел их в порядок. Он очень хорошо понимал, что из-за его плеча их читает другой генерал или много других генералов, и не всегда ясно, что общего между ним и этими другими генералами, как не всегда ясно, что именно связывает нас с на-

шими родственниками или друзьями, даже с родителями и детьми, хотя абсолютно очевидно, что связь эта существует.

В комнате, набитой оружием и всяческим воинским снаряжением, аккуратно расставленным и развешенным по стенам и в стенных шкафах, все напоминало ему о войне. Он был не в силах расстаться со своими ружьями – начиная с берданки и кончая тяжелой немецкой винтовкой. У каждого была своя история, каждое пришло к нему своим путем. Он разместил их в специально сколоченной Дачо деревянной пирамиде, а сверху покрыл брезентом, как в казарме. Тут был и ящик с револьверами различных калибров – его коллекция. Расставаясь со своим командиром, Второй артиллерийский полк подарил ему гильзы от всех снарядов, которые были у него на вооружении. Как девочки, что долго хранят своих кукол, Генерал тоже хранил свое оружие и гильзы, возвращенные ему после реабилитации ордена, разложенные по порядку на бархате большой плоской коробки (коробочки от орденов и указы о награждении хранились отдельно), немецкий автомат, свою партизанскую одежду – выцветшую куртку с испорченной „молнией“, солдатские штаны и туристические ботинки, чья кожа превратилась в камень. Партизанская одежда вместе с походной, строевой и парадной униформами висела в стенном шкафу – и тоже в этой комнате. Генерал любил свои вещи, в долгие послеобеденные часы он их перебирал и рассматривал, дотрагивался до них с удовольствием, они были ему известны так хорошо, словно составляли часть его самого. Здесь были и бутылки, оплетенные разноцветной соломкой, была и трубка, сделанная из жваного хлеба с сахаром, – подарок старого заключенного, который говорил, что голова человеку дана,



чтобы держать ее высоко. Он был помешанным, и все это знали, но сам он не знал и потому считал, что свободен. Все, даже директор тюрьмы, его уважали, но никто не признавал его свободы из-за особого цвета его арестантской одежды.

Много жизненных сил остается в предметах одежды, в оружии и орденах, когда они твои. Они собирают человеческую энергию так, как лупа собирает солнечные лучи, чтобы вернуть их обратно, поэтому Генерал жил среди своих вещей, спал среди них, а когда выходил, они звали его, напоминали о себе, чтобы напомнить ему о нем самом.

Генерал обвел усталым взглядом фотографии на стене, оружейную пирамиду, строй гильз и остановил его на пишущей машинке и стопке листов, исписанных этой ночью. Долгим был путь от его вещей до этих страниц, но он быстро его преодолел и решил прочесть отрывки из написанного:

„Нельзя сердиться на реку, что она выходит из берегов, неся с собой тину, камни, вырванные деревья и смерть – смерть людям, животным и растениям. Нельзя сердиться на молнию, убивающую неповинную ни в чем вдову, укрывшуюся от грозы под деревом. У природы нет памяти, нет представления ни о себе самой, ни о других, природа всегда с нами и в нас – она рождает и убивает, создает и разрушает. Долгие годы люди стремятся ей подражать, но их подстерегает возмездие. Они носят его в себе с рождения, и рано или поздно оно предъявляет им свой счет – организму, нервам, памяти, совести. У человека есть память, потому что он здесь лишь временно: он должен до отказа наполнить себя событиями и случаями, чтобы у него было с кем себя сравнивать, заниматься самоуспокоением и самообманом в продолжение своего краткого земного пути, по-

исками собственной значимости – бóльшей, чем ему определено“.

– Ничего не понимаю! – простонал Генерал. – Как я мог такое написать? Сейчас каждую фразу придется читать по нескольку раз, чтобы понять, а когда писал, слова лились легко, сами собой, я просто не замечал, как пишу. – Взяв другой лист, он вновь принялся читать:

„Не спать!“ – прошипел мне человек. Он был молод, с рано поседевшими волосами и интеллигентным лицом. У меня невыносимо болели глаза, я плохо видел, но понимал, что лицо у него молодое и интеллигентное. Перед глазами медленно плавали круги, и в центре их сидел на стуле этот человек. Он курил – сигарету за сигаретой. Может быть, ему тоже хотелось спать, но он время от времени кричал, чтобы я не засыпал, и по этому признаку я понимал, что он тоже не спит.

В какой-то миг я опять задремал: круги придавили меня к полу или еще к чему-то, что проваливалось, уходило из-под ног, тащило меня все ниже и ниже. Мне казалось, что весь земной шар давит на меня своей тяжестью, особенно на глаза. Потом меня окатила морская волна, я открыл глаза и увидел наружное дно алюминиевого ведра – громадное, тяжелое, поблескивающее металлом. Надо мной наклонился человек с сигаретой во рту, я увидел только рот; носа, глаз, бровей не было – сплошное белое пятно, но я догадался, что это его лицо – живое лицо, которое я не мог не узнать.

– Говори! – услышал я откуда-то издалека его голос.

Во мне были два существа. Одним был я – распятый, расплывшийся, бесформенный с огромной головой и невидящими глазами, мечтающими о сне, гре-

зящими наяву. Перед ними плыли и вертелись всевозможные фигуры всех цветов радуги, плыли и исчезали. Это было слабое, лишенное воли, раздавленное существо. Оно вставало и падало и снова вставало, шатаясь и дергаясь на своих резиновых костях и мускулах. Другое существо было собранным, подтянутым, с ясным сознанием; это сверхчеловеческое существо время от времени вырывалось вперед и громко заявляло:

– Мне нечего сказать!

– Заговоришь! – долетало до меня эхо его голоса. – Ты не спишь уже третьи сутки. Мы не дадим тебе спать, пока не заговоришь!

Я был готов целовать ему ноги, сказать ему все, что он хочет, потому что уже не понимал, где кончается то, чем я был, и начинается то, чем я стал, какова разница между тем и другим, какова разница между ложью и правдой, фантастикой и действительностью, смертью и жизнью. Мне хотелось лишь заснуть, сдаться, испытать высшее наслаждение от сознания того, что я уничтожен, раздавлен, что я отказался от всего, отрекся от всего. Но у меня пропал голос, сколько бы я ни кричал, он звучал лишь во мне, не вырываясь наружу. Дрожь этого внутреннего голоса болью растекалась в крови, нужно было излить ее наружу, как черный яд. Но вместо него из меня вырывалось другое существо и повторяло, как заведенное:

– Мне нечего сказать!

Человек наклонился ниже, на белом пятне проступили брови, глаза, ямочки возле тонких нервных губ. Появились рот, коричневый от табака, тонкий нос с широкими ноздрями, и тогда все во мне – кровь и плоть, сознание и память – вскричало в дикой радости:

– Ковачевский!

Человек поднялся куда-то вверх. Исчезло лицо со

знакомыми чертами. Я метался по полу, плакал и смеялся, стонал и кричал, пока не погрузился в вязкую тину сна. И снова был вырван из нее: сильная рука подняла меня за волосы. Я узнал лицо – это был Ковачевский; партизан из нашего отряда, нервный юноша, который писал стихи, вырезал резиновые печати, хорошо стрелял и бесшумно ползал по-пластунски, который плакал, когда погибла Соня, потому что он ее любил.

– Ковачевский! – крикнул я державшей меня руке.

Он отпустил меня. Я ударился головой об пол и снова поднял голову, даже не почувствовав удара, от которого зазвенел цементный пол.

– Да, это я, – услышал я глухой голос и тогда увидел его глаза. Они были пустыми.

– Ты узнал меня? – простонал я.

– Да. Сразу.

– Но почему, скажи?.. Почему, почему, почему?.. Скажи, скажи! – повторял я, пытаюсь взять его за руку, наконец, мне это удалось – она была худой, теплой, человеческой. – Скажи, скажи, скажи! – твердил я, пока он не зажал мне рот этой самой рукой и не прошептал:

– Тише, тише!

– Почему, почему, почему?

Тут Ковачевский кинулся в угол, где стояло ведро. Его вырвало...

Больше я его не видел. Я встретил его позднее, спустя годы, в той софийской кондитерской, куда ходят веселые и беззаботные юноши и девушки, которые пьют там через соломку коктейли, курят и слушают веселую, беззаботную музыку. Он сидел в отдельном закутке, облокотясь о стол. Волосы у него были совершенно белые. Голова втянута в плечи, лицо серое. Я сел за его столик и стал смотреть на его руки – те самые руки, которые обливали меня водой и поднимали за во-

лосы, чтобы я не заснул. Он дернулся и спрятал их под стол.

– Ковачевский! – тихо сказал я.

Он взглянул на меня, и я испугался. В глазах его светило дикое веселье: он был пьян, пьян в доску. До нас доносилась музыка, пели на итальянском. По ковровой дорожке пробегали официантки, в воздухе тяжелым облаком висел табачный дым, сквозь который просвечивали разноцветные лампочки над стойкой бара. Икнув, Ковачевский произнес:

– Это ты?

Это не был ни вопрос, ни констатация факта, ни проявление радости или стыда. Это даже не были слова. Спустя мгновение мы оба плакали, взявшись за руки под столом. Потом вышли вместе в людской круговорот, и каждый пошел своей дорогой, чтобы когда-то встретиться там, где расстояния и различия стираются, исчезают...“

Генерал отложил листы. По его жестким щекам текли слезы. Снаружи запел первый петух, звук боевой трубы заполнил всю комнату, зазвенел в ружьях и орденах, в пишущей машинке и фотографиях на стене, в генеральской памяти и в воспоминаниях на бумаге. Полки застыли по стойке „смирно“. Шеренги выровнялись. В один голос грянуло „ура“. Военный оркестр заиграл вынос знамени. На заборе, словно трубачи, пели десятки петухов, подняв головы к светлеющему небу. Знамя вынесли, оно слегка затрепетало под дуновением нежного утреннего ветерка, потом поплыло, как символ высоких идей, над головами бойцов и командиров, а петухи и музыкальные инструменты подхватили его трепетание, понесли по всем параллелям и меридианам, заполнили звуками весь мир. Генерал стоял посреди низкой деревенской комнаты, вытянувшись в

струнку, руки по швам, высоко подняв непокрытую голову. Затем сел, устало потер глаза и взял несколько последних страниц из стопки.

„Хорошо, – промолвил Спас. – Но у этого парня была девушка. Письма нам приходили редко, но ему каждый раз было письмо в одинаковом конверте. Письмо от его девушки, которую звали Счаси.

– Счаси? Никогда не слыхал такого имени, – сказал я.

– Ее звали Счастье, – пояснил Спас, – но и он, и мы называли её Счаси. И стали мы жить его заботами и тревогами, а он был такой сумасбродный парень! Выдавал себя неизвестно за кого, спутался с какими-то иностранцами. Он был беден и хотел заработать, и его часто отсылали обратно – на два-три месяца. Поддержат, выпустят, потом снова возьмут и снова выпустят... Вроде бы чтоб ему помочь. Все помогали ему, он был такой хрупкий, болезненный. Я тоже испытывал к нему слабость. Так вот, говорю, эта Счаси всем нам запала в ум. Может, из-за имени, никому из нас не приходилось слыхивать такое имя – Счастье!

– Счастье, – проговорил я. – Я тоже не слыхал.

Спас немного помолчал, потом, засмеявшись, сказал:

– У нас с тобой, Генерал, судьба вроде сходная... Что мы ни делали, где ни жили, опять сюда вернулись. Подремонтировали нас, подзалатали... Да я не сожалею, – добавил он. – Вот только плохо, что сыновья меня малость избегают, боятся, чтоб им не повредило на службе. Один – член партии... Я их понимаю: всякое дерево должно расти на своей почве. От меня они ничего не получили. Я им лишь жизнь дал. Если этого мало...

– Это немало, – произнес я. – Ты им все дал, а даль-

ше пусть сами справляются. Не маленькие, профессия есть, семья есть. Справятся.

– И я так полагаю, – засмеялся Спас. – Двенадцать внуков у меня. Захотят приехать – пожалуйста! Есть чем встретить, чем угостить. Вино есть, ракия есть, слава богу.

– Они приедут, – сказал я ему. – Приедут, когда им будет плохо, – опору искать в тебе.

– Опора найдется, слава богу, – посуровел Спас. – Я всю жизнь опоры делал, чтоб поддерживать себя со всех сторон. Есть и на продажу. Но ты, Генерал, даешь! Каким был, таким и остался! Особенная ты личность!

Я рассмеялся. Однажды – еще до Девятого сентября – его чуть не расстреляли. Он подрался с жандармом. Когда его увезли в Златаново, им по чистой случайности заинтересовался один адвокат, у которого были личные счета с властью. Если б не его вмешательство, Спаса просто отвезли бы куда-нибудь в поле и застрелили.

– И ты особенная личность, – отозвался я. – Все против ветра идешь!

– Ну нет, – возразил он. – Это ветер против меня идет.

– А как сейчас твои дела, Спас?

– Хорошо. Купил я себе географические карты – мир изучаю, купил и словари. Закрой мне глаза и спрашивай о какой хочешь столице – я их все наизусть знаю.

– Зачем тебе карты? Не губи напрасно время!

– Время? Как это я его гублю? Это оно меня губит. Протяну ноги, значит, окончательно погубило. Времени, Генерал, у меня много. Сначала я стал изучать английский по учебнику, но дело не пошло – очень уж у них легкая грамматика. Все вроде одинаково, а никак не различишь. Ну, думаю, раз такая легкая граммати-

ка, значит, будет очень сложно. Не для меня это. И бросил. Я, Генерал, не дурак.

– Знаю, – отозвался я. – Мне это очень хорошо известно.

– Знаешь, – он опять засмеялся, и мне показалось, что смех у него счастливый, – думал я, чей я потомок, Генерал. Я такой гибрид, что ой-ой-ой! Помесь бай Ганьо и Хитрого Петра – мичуринский гибрид!

Мы оба рассмеялись и смеялись долго. Потом Спас сказал:

– Но есть и еще что-то. Третье.

– Что?

– Вот этого я не знаю, – серьезно ответил Спас. – Знаю, что оно есть, но что – мне невдомек. Говоря откровенно, Генерал, оно меня держит. Выпало мне, чтоб меня держало. Сколько бы опор я для себя ни сделал, если не оно – упаду.

– Ты с ним родился, Спас, – сказал я.

– Наверное, – согласился он. – Оно как корень. Я ступлю куда-нибудь, и оно в землю вонзается. Держит меня, чтоб я прямо стоял, и чувствую, как оно соки в меня вливает, силы дает. Ничто мне уже не страшно.

Спас умолк и вдохнул глубоко воздух. Лицо его приобрело прежнее хитровато-простодушное выражение. Он пригласил меня пойти к нему – посмотреть сад. Я отказался:

– В другой раз. – И пошел, оставив его одного, с корнем, пущенным в землю“.

Генерал отложил листы. На лице его появилась странная улыбка – нельзя было понять, вопросительная она или одобрительная. И к затаенному смыслу этой улыбки, вобравшей в себя и радость, и страдание, прибавилось порхнувшее птичкой удивление – это дивное диво, поворачивающее людей лицом к истине и делающее их сильными и гордыми.

И наступил день.



## ПОСИДЕЛКИ

Две яркие электрические лампочки освещали кучи кукурузных початков и сидящих около них людей. Слышался людской гомон и шуршание листьев кукурузы. Люди очищали початки от листьев и бросали их в большую общую кучу. За липами темнело здание сельсовета. К коновязи рядом с общинной конюшней, где раньше привязывали жеребят, прежде чем кастрировать, сейчас был привязан ишак Спаса. Он тоже пришел на посиделки.

Лесник ходил среди собравшихся, присаживался то здесь, то там, очищал несколько початков, обменивался с людьми несколькими словами. Это была его идея – вспомнить старые традиции, собраться, как раньше, на посиделки с коллективной очисткой кукурузы. Явилось много народу, почти все остававшиеся в селе, за исключением больных, расселись среди куч кукурузных початков и принялись их очищать. Тут не было любовных заигрываний, никто не отзывал свою зазнобу в сторону; чтобы, торопливо прижавшись к ее губам своими молодыми горячими губами, сорвать с них робкий поцелуй. Люди сидели спокойно, время от времени перекидывались короткими фразами, раздавались и шутки, сопровождавшиеся смехом – не таким молодым и задорным, как раньше, но все же веселым, здоровым смехом.

– Улах, – обратился Лесник к Улаху, сидевшему возле одной из куч вместе со всем своим семейством, – ты принес с собой кларнет?

– Принес, – ответил Улах, показывая пальцем на мешок позади себя, в который он завернул кларнет.

– Хочу, чтоб ты сыграл что-нибудь бодрое, – сказал Лесник. – Что-нибудь для поднятия духа. Умеешь играть марши?

– Умею, – сказал Улах. – Знаю два марша – „Шумит Марица“ и „Интернационал“.

– „Шумит Марица“ забудь! – нахмурился Лесник. – Нам не нужны фашистские марши. Постарайся вообще его забыть!

– Не могу, – отозвался Улах, – я ежели чего выучу, ни в какую не могу забыть!

– Забудешь! – глаза Лесника сверкнули. – А если не забудешь, последуют соответствующие выводы. – Он сделал рукой неопределенный жест, но Улах интуитивно почувствовал, что это будут за выводы, и поспешил заявить:

– Ну, раз ты говоришь, хозяин, наверное, забуду. А ежели не смогу?

– Если не сможешь, все равно забудешь, – уверенно заявил Лесник. – Только посмей его заиграть! И не называй меня „хозяином“, это тебе не старые времена! Никакой я не хозяин, ясно?

– Ясно, – отозвался Улах. – Не буду играть „Шумит Марица“ и называть тебя хозяином. А сейчас мне играть или чистить кукурузу?

– Чисти кукурузу! – сказал Лесник. – А когда надо будет играть, я подам тебе рукой знак, и ты начнешь „Интернационал“.

– Хорошо, – произнес Улах, – как ты подашь мне знак, я сразу заиграю.

Когда Лесник отошел, Улах обменялся взглядами с женой и своими одиннадцатью отпрысками. Чтобы не обидеть и будущее поколение, он бросил ласковый

взгляд и на живот жены, где уже оформлялся двенадцатый отпрыск. Жена улыбнулась, широко раздвинув фиолетовые губы и выставив напоказ все зубы, оправленные в белый металл. Зубы сверкнули, а сердце Улаха преисполнилось гордостью. Все чистили кукурузу, время от времени слышались глухие удары початков о кучу.

– Не буду играть „Шумит Марица“, – сказал глазами Улах, и все кивнули в знак согласия. – Буду играть то, что мне скажут. Кларнет все может.

– Верно, – подтвердили глазами остальные.

На том и окончился этот разговор. Семейство Улаха углубилось в работу: руки быстро двигались, шуршали желтые сухие листья кукурузы, поблескивали пахнувшие свежестью очищенные початки.

В этот момент дед Стефан затянул хриплым голосом песню. В ней говорилось о том, как один из борцов за свободу подался в лес и заговорил с ним, как лес заплакал, а гайдук шел и рассказывал ему, куда он идет, как будет сражаться с турками, а потом вернется к своей зазнобе, а если не вернется, то пусть его белые кости ищут в лесу. К концу песни дед Стефан до такой степени охрип, что уже не пел, а просто говорил.

Пошла речь о песнях, вспомнили, как учитель Димов играл на вечеринках на скрипке, какие были раньше помолвки и свадьбы, какие посиделки, и за разговорами никто не замечал, как кучи неочищенной кукурузы быстро тают. В этот момент Улах почувствовал, что забыл, что именно он обещал Леснику, – играть „Шумит Марица“ или „Интернационал“? А вдруг Лесник сейчас даст знак? Улах спросил глазами свое семейство, но никто не мог ничего ему посоветовать. Он растерялся. Потрогал кларнет, лежавший в мешке за его спиной. „Что же мне играть? – подумал он. – Лесник

хочет марш, но какой из двух?“ Улах отчасти был посвящен в социально-исторические перемены нашего времени и знал, что сейчас время коллектива, каковой факт он объяснил и своему семейству, тыча пальцем в каждого, но не мог связать его с музыкальными произведениями. Он умел играть оба марша весьма виртуозно, в обоих кларнет брал в определенных местах невероятно высокие ноты – малость игриво для марша, но для слуха очень приятно – а затем продолжал мелодию. От страха он вспотел, ему померещились какие-то неясные выводы, горло перехватило.

А Лесник в это время сидел в одной из групп и чистил кукурузу. Там был и Председатель, который, воспользовавшись мероприятием, вновь высказывал свои опасения и искал выход из создавшегося положения.

– Эх, если б нашли у нас нефть! – продолжал свою мысль Председатель. – Прибежал бы вдруг кто-то к нам, как мы тут сидим и чистим кукурузу, и, запыхавшись, сообщил: „Люди, геологи открыли на Бугре нефть!“

Его внимательно слушали.

– Или если б в Кожукской местности нашли золото! – Председатель огляделся в поисках проявлений оптимизма. Но слушатели молча чистили кукурузу и только моргали.

Лесник сказал:

– Нам надо надеяться лишь на самих себя, а не на такие чудеса, как нефть и золото.

– В Плевенском районе надеялись на себя, – возразил с досадой, что его прервали, Председатель, – но как забил нефтяной фонтан, его уже не остановишь! Может, и природный газ вырвется наружу!

– Что бы там ни вырвалось, эксплуатировать месторождение будет государство, – сказал Лесник. – Нашему хозяйству рассчитывать на это нечего.

– Может, и так, но будет совсем другое дело! – оживился Председатель. – Сюда понаедет много людей, молодежь, поселятся здесь, домов понастроят, откроют магазины, и мы приобщимся к современной жизни. На нашей территории начнут рождаться дети, школу снова откроем, а может, и еще одну придется построить. Будет у нас своя футбольная команда, в каждом доме телевизор с большой антенной – из тех, что все ловят.

– Таких антенн нет, чтоб все ловили, – вмешался Спас. – Большие антенны ловят только Белград и Бухарест.

– Тебя не спрашивают, – недовольно прервал его Председатель. – Ясно, что ты можешь сказать, когда откроешь рот.

– Пусть скажет, – поддержал Спаса Гунчев. – Человеку на то и дан рот, чтоб говорить. – Он поискал взглядом Американца, но, увидев, что его друг думает совсем о другом, добавил: – Насчет телевизоров – это может быть, но вот насчет нефти что-то не верится.

– И мне тоже, – сказал Спас, – в нашем краю нет никакой нефти. Если бы она была, приехали б ее искать. Кто тут у нас встречал геологов, а, Председатель?

– Может, и не встречал, но встретит, – огрызнулся Председатель. – Геологам дай только зацепку – не оставят нас в покое: станет село известно всей Болгарии, да и за границе тоже.

– Не знаю, – снова вмешался Гунчев, – как оно будет, но если насчет заграницы, так нас и сейчас хорошо знают. Там столько наших огородников, что ой-ой-ой!

– Насчет нефти и я не верю, – произнес Дачо. – Вот если бы мы здесь построили лесопильный завод – другое дело. Сейчас на пиломатериалы большой спрос.

– Для лесопильного завода у нас нет сырья, – нахмурился Лесник. – Тебе, Дачо, все пиломатериалы мерещатся. А сам разве не видишь, что на своей лесопильной раме пилишь одну дрянь. Сколько пластин попортил!

– Это не я попортил, – обиделся Дачо. – Привозят одни вербы, а на них полно узлов и сучков. Вы мне дайте сосновые стволы, тогда посмотрим, сломается ли пластина! А то везут только вербы да вязы.

– Что есть, то и везем, – сказал Председатель. – Ты не очень-то жалуйся! Лесопильный завод ему подавай! Государство задыхается, ему валюта нужна, а он – завод!

– Если оно задыхается, – вмешался Спас, – пусть немного передохнет, тогда и леса хоть чуток придут в себя. А то повырубали леса, и все вам мало.

– Ты о ком это говоришь? – нервно спросил Лесник. – Кому это „вам“?

– Вам, – ответил Спас. – Тебе, Председателю, государству.

– Гм, – пробормотал Председатель, – значит, опять проводишь вражескую агитацию в общественных местах?

– Ничего я не провожу, – огрызнулся Спас, и перед его мысленным взором встала плотина на большой реке. Внутренний голос сказал ему, чтобы он замолчал, но Спас не послушался его и упрямо добавил: – С одной стороны, хотите, чтоб мы говорили, идеи давали, а с другой, как заговоришь, – это, мол, вражеская агитация! Да так никакого разговора не получится! Если вопрос стоит о социализме, то я за социализм.

– Знаем мы, как ты за социализм, – прервал его Лесник, – но не делаем это достоянием масс.

Он поднялся, недовольный всеми, особенно Пред-

седателем. „Не общественный он деятель, – думал Лесник, – всегда так направит беседу, что упустит основную нить. А этому, нашему, дай только покритиковать. Государство вздумал критиковать, вредный элемент! И когда он только за ум возьмется! Видно, никогда, хоть сто лет ему будет, котелок у него все так же будет варить!“ Отведя Спаса в сторонку, он все это ему выложил. Спас засмеялся:

– Так это ж известно: старая курица медленно варится!

– Слишком много знаешь! – осадил его Лесник. – Сколько раз я тебя спасал, но когда-нибудь и не смогу спасти.

Спас удивился, как это так Лесник его спасал, ему хотелось спросить его об этом, но он тут же вспомнил, что на эту тему они однажды говорили – когда умерла жена Лесника, и произнес примирительно:

– Лесник, давай не будем придирааться друг к другу! Кому от этого польза?

– Никому! – отрезал Лесник. – В том-то и дело, что нет пользы, я потому и злюсь.

– Я тоже злюсь, но терплю, – сказал Спас.

– А ты из-за чего злишься?

Незаметно для самих себя они снова присели возле кукурузной кучи и принялись очищать початки. Спас объяснил, что злится из-за того, что никто ничего не организует и не принимаются никакие меры, чтобы выправить существующее положение. Лесник в удивлении уставился на него: ему показалось, что Спас и Председатель – одно и то же лицо, говорящее одними и теми же словами об одних и тех же вещах.

– А как выправить положение? – спросил он.

– Например, развить торговлю скотом, – ответил с воодушевлением Спас. – Я, Лесник, уже давно об этом думаю.

Услышав краем уха о чем разговор, Председатель, равнодушный ко многому другому, тут же, забыв о недавней стычке, присел к ним и мягко поощрил Спаса:

– Скажи, Спас, что ты там надумал. Мне показалось, что ты подкинул какую-то идею.

– Ничего я не подкинул, – отозвался Спас, – просто, говорю, давайте начнем торговлю скотом. Ввезем, например, баранов из Канады и Австралии, орловских жеребцов из России. Будем продавать их на расплод хозяйствам, выручим кучу денег.

Председатель и Лесник переглянулись.

– Спас, – произнес Председатель, – тебя все к торговле – покупке да перекупке – тянет. Канада, Австралия... орловские жеребцы... У нас уже столько лет народная власть, а ты своей башкой ничего еще не уразумел!

– Не уразумел и все! – смеясь, отозвался Спас. – Старая курица медленно варится!

– Рано или поздно сварится! – уверенно сказал Председатель.

– Это мне известно! – проговорил Спас. – Вот только зло берет, что вы меня не используете.

– А что именно использовать? – заинтересовался Председатель, оценивающе оглядывая его с головы до пят.

– Да все! – гордо ответил Спас. – У меня большой опыт в торговле скотом, в животноводстве... Могу вам развить такое племенное животноводство, что не найдете ему равных!

– А откуда валюта? – спросил Председатель.

– Откуда фураж? – поддержал его Лесник.

– А людей где взять? – продолжал Председатель. – И потом: кто разрешит нам развивать животноводство, если мы – полеводческий район? Людей не хватает и для полевых работ...



– Какой же мы полеводческий район, – раздраженно произнес Лесник. – Вон горы рядом...

– Для государства мы – полеводческий район, – веско заявил Председатель. – Если взять горы, то мы – лесной район, но для государства – полеводческий...

– Да хватит вам спорить! – попытался успокоить их Спас. – Мы ни полеводческий, ни лесной район.

– А какой же тогда? – спросил Председатель.

– Мы вообще никакой не район, – спокойно ответил Спас. – Если б мы были районом, до сих пор бы уточнили, какой мы район. Раньше мы были лесным, а теперь они сунули нас к полеводческим, потому что так им удобней...

– Кто это „они“? – угрожающе спросил Лесник.

– Да те, кто определяет районы, ну, государство, – пояснил Спас.

– Слушай, Спас, – прошипел Лесник, – советую тебе лучше замолчать, понятно?

– Лучше вообще молчи, ничего не говори, – поддержал его Председатель.

– Хорошо, – проворчал сильно задетый Спас. – Сначала требуете идей, затем – проводишь, мол, вражескую агитацию, а потом – вообще молчи.

– Не порти нам здесь атмосферу, – мрачно произнес Лесник. – Не веди себя как чуждый элемент! Мы собрались на посиделки, здесь не место для демонстраций.

– Ладно, – сказал Спас. – Я замолчу, но потом не просите подбросить вам какую-нибудь идею – словечка не промолвлю!

– Не будем просить, – пообещал Председатель. – Мы никого ни о чем не просили и не будем просить!

– Кто „вы“? – поинтересовался Спас.

– Мы – Лесник, я, государство вообще. – Председатель поднялся, почувствовав необходимость поговорить с другими о наболевших вопросах. – Говорить с тобой – лишь время терять.

Спас промолчал. Вместе с Лесником он продолжал очищать початки. Глаза его смеялись, а губы были сердито сжаты, и нельзя было понять, доволен он или обижен. Сидевший неподалеку Дачо подумал, что двоюродному брату не миновать еще раз дальней дороги. Придвинувшись к нему, он спросил:

– Тебя, наверное, опять пошлют на ремонт, а?

– Наверное, пошлют, – ответил Спас. – И твою пилораму время от времени ремонтируют, правда?

– Нет уж! – крикнул Лесник. – Для чего тебя посылать – чтоб вернувшись таким, каким был, ты строил из себя героя? Не надейся, никто тебя никуда не пошлет, будешь жить здесь и преодолевать трудности!

– И буду! – твердо заявил Спас. – Трудностями меня не испугаешь!

Лесник перешел к Босьо и Оглобле, которые молча чистили кукурузу. Он был по горло сыт разговорчиками Спаса.

– Как дела, Босьо? – спросил Лесник бывшего немого.

Босьо никак не реагировал на его вопрос.

– Я тебя спрашиваю, Босьо! – повторил Лесник.

– Не хочет разговаривать, – ответил вместо него Оглобля. – Я тоже его спрашиваю, но он молчит.

– Почему? – удивился Лесник. – Ведь он же начал говорить?

– Начал, – кивнул Оглобля. – Все о той птичке рассказывал, что она ему пропела, а теперь молчит и о ней тоже ничего не рассказывает.

– Может, снова онемел. Они такие, – вмешался Спас, глаза его смеялись. – Они все такие.

– Кто? – спросил Оглобля.

– Да весь их род.

– Не знаю, – мрачно произнес Оглобля. – Мне тут

все неясно. Может, он сейчас внешне молчит, застыл, как памятник, а внутри ведет разговор. Он сейчас снаружи и на человека не похож, одно только лицо человека.

– А ты тоже хорош, такую ерунду болтаешь! – разозлился снова Лесник. – Снаружи один, внутри другой... Обыкновенный человек.

– Не человек, – возразил Оглобля.

– А кто тогда?

– Не знаю. – Осмелев, Оглобля продолжал: – И человек, и не человек. Посмотреть издали, так все мы люди, а как подойдешь поближе, видишь, что ошибся.

– Ох, у меня от вас голова разболелась! – Лесник со стоном схватился за голову.

– От кого от нас? – спросил Оглобля.

– От тебя, от Спаса, от Босьо, от Председателя, ото всех. Не люди вы, а черт знает что, – вздохнул Лесник.

– Ну, а я про что толкую? – сказал Оглобля.

Лесник вскочил с места, как безумный. На Оглоблю он даже не взглянул, тот склонился над кукурузой, глубоко задумавшись о людях и нелюдях. Лесник огляделся вокруг в поисках кого-нибудь, от кого у него не заболит голова, и увидел патриархальную группку Улаха. Подойдя к ним, сел. Улах затрепетал от страха. Лесник спросил:

– Что с тобой, Улах? Ты весь дрожишь, уж не разболелся ли?

– Н-нет, – ответил Улах.

– Тогда, Улах, – сказал Лесник, – сыграй что-нибудь бодрое, чтоб отлегло у меня от сердца.

Дрожа еще сильнее, Улах обвел взглядом свое семейство и сунул руку в мешок. Вынул кларнет и, мысленно простившись с будущим, заиграл. Кларнет весело пискнул, исполнил затейливый проигрыш, и над сиделками понеслись звуки марша „Шумит Марица“.

## „СЧАСТЬЯ“

– Почему будешь петь американскую? – нахмурился Лесник, ожесточенно слюнявя химический карандаш. – Ты что, не знаешь советских?

– Не знаю, – ответил Американец. – Но эта прогрессивная, об отчем доме.

Лесник взглянул на него с сомнением. С раннего утра он ходил по домам, агитирую за коллективную встречу Нового года. Старухи должны были испечь пирог со „счастьями“. – Какие „счастья“ нам положить в пирог, – спросила его бабка Велика, – ежели все мы одной ногой в могиле? Будь тут молодые, мы б знали, что им пожелать, а так... – Сделайте все, как положено, – ответил он им, а там увидим, когда разрежем пирог, кому что достанется. – А сколько „счастьев“ запечь в пироге? – спросила бабка Велика, остальные старухи дружно закивали: да, сколько? – Пятьдесят четыре, – ответил Лесник, – сколько нас человек осталось в селе, столько и кладите. Правда, трое сейчас в расходе. – Где? – хором спросили старухи. В отсутствии, – пояснил Лесник, – один в больнице, один у своих в городе, а еще один вроде бы на тот свет собрался. – Ты о Сеизе говоришь? – спросила бабка Петра. – Он до Нового года не помрет. Раз нос у него еще не совсем заострился, не помрет. – Ладно, – сказал Лесник, – положите и для Сеиза „счастье“, я буду его уполномоченным, возьму для него кусок пирога со „счастьем“ и отнесу ему после праздника. – А для Босьо класть? – спросила бабка Рал-

ка, мать Ивана Пенчова. – И для него, и для бабки Недели, и для Оглобли – я ведь сказал, чтоб для каждого было. – Но, Лесник, столько счастья нет и на всем белом свете! – возразила бабка Анна. – Может, и нет, но для нас будет, – авторитетно заявил Лесник, слюнявя свой карандаш. Оглядев старух, он продолжил: – Подготовьте и номера программы. – Какие номера? – спросила бабка Черна, мать Ивана Стоянова. – Номера художественной программы, – улыбнулся Лесник, – каждый должен или что-то продекламировать, или что-нибудь спеть... Вы, например, можете выступить и коллективно... – Коллективно?! – взвизгнула бабка Ралка. – Ты, Лесник, только и требуешь, чтоб все коллективно... – Не я требую, – возразил Лесник, – эпоха требует, но сейчас мы не будем углубляться в принципиальные вопросы. Подумайте, кто с чем выступит, какие „счастья“ запечете в пироге; у кого есть вино и закуска, принесите для общего стола. Будет и музыка: Улах будет играть.

Ну, со старухами я договорился, – думал сейчас Лесник, глядя на блестящую лысую голову Американца и еще более блестящие металлические зубы, которые тот сделал в Америке; договорюсь и с Сеизом, лишь бы он выдержал до Нового года, но вот этот Американец создает мне проблемы.

– Может, песня и об отчем доме, – сказал Лесник, – но как-то не подходит, чтобы на Новый год мы пели империалистические песни.

– Она не империалистическая, – возразил Американец. – Если о возвращении домой, значит, вовсе не империалистическая.

– Ох, не пудри мне мозги! – разозлился Лесник. – Ну ладно, а на каком языке будешь петь?

– На английском, – кротко ответил Американец.

– Ох! – еще раз охнул Лесник и, убедившись в том, что ни с чем другим Американец не выступит, сдался: – Хорошо, споешь эту песню, но смотри, чтоб со словами все было в порядке!

– Не беспокойся! – заверил Американец, надевая фуражку.

Послюнив карандаш, Лесник записал в блокноте:

„Амер. – песня на англ. об отчем доме???“

Босьо был у себя во дворе. Он любовался новой коптильней, где уже висели четыре свиных окорока.

– Значит, отказываешься исполнить какой-нибудь номер? – В третий раз спросил его Лесник, приготовив карандаш.

Босьо молчал.

– Если хочешь, расскажи о птичке, – сказал Лесник, – о той, что села на твой тополь и все тебе пропела.

Босьо поднял взгляд на голый черный тополь, и глаза его потемнели. Лесник понял, что ничего он не расскажет. Хорошо, – сказал он ему, – освобождаю тебя от художественного исполнения, но взамен этого придешь мне помочь очистить комнату третьего класса от шелковичных коконов и развесить там лозунги, которые сейчас пишет учитель Димов.

Босьо кивнул в знак согласия.

Когда лесник вошел к Генералу, тот сидел за пишущей машинкой. Подняв голову от стопки листов, внимательно его выслушал. – Исполнить какой-нибудь номер? – сказал Генерал, в последнее время заметно похудевший от писания. – Да я не умею ни петь, ни играть на инструментах. Вот командовать я могу, я командовал всей Второй армией. – Нет, речь не о командовании, – возразил Лесник, – раз не умеешь ни петь, ни играть, прочти что-нибудь из этих листов. Уже два года, как ты пишешь, а мы еще ничего не поняли из твоей

писанины. – Я сам еще ничего не понял, – произнес Генерал, – а вы хотите понять: такие вещи становятся ясными позднее. – Хорошо, – промолвил Лесник, – предлагаю тебе что-нибудь прочесть из написанного, а уж это наше дело, когда мы пойдем. – Он оглядел комнату: пирамида с оружием, заскорузлые партизанские ботинки, трофейные снаряды... – Согласен, – улыбнулся Генерал, – что-нибудь вам прочту, может, и мне станет яснее, если буду читать вслух: до сих пор я никому еще не читал. – Но выбери что-нибудь оптимистическое, – попросил Лесник, – подходящее к случаю, а то прочтешь что-нибудь грустное, от чего только раскиснешь. – Мы никогда не раскисали, – гордо заявил Генерал, – но раз хочешь, будет тебе оптимистическое! Я принесу и немецкую винтовку – дать салют в честь Нового года. – Хорошо, – отозвался Лесник, – а я принесу мой пистолет. – И отметил в блокноте:

„Генер. – что-н. оптим., нем. винт.“

– Хорошо, договорились, – сказал Леснику Спас, вылезая из погребка. – Ты ведь знаешь: я никогда не отрывался от масс. А насчет выступления, я могу прочесть наизусть передовицу о международном туризме – последнее время о нем много говорят...

– Спас, – рявкнул Лесник, – не шути на тему международного туризма! Это государственная политика! – Умолкнув, он подумал: „А почему бы и не прочесть, раз выучил наизусть? Это лучше, чем проводить вражескую агитацию“, а вслух добавил: – Ладно, Спас, прочти наизусть передовицу, но не отступай от текста, слышишь?

– Слышу, – отозвался Спас. – А взять с собой алкоголь и закуску?

– Возьми, – сказал Лесник. – Устроим общее застолье.

– Договорились, – засмеялся Спас. – Я как раз мерил домашнюю колбасу. Вышло двадцать два метра тринадцать сантиметров. Я отрежу метр тринадцать, чтоб осталось ровно двадцать один метр.

„Спас – перед. о межд тур., колб. 1 м 13 см“ – отметил в своем блокноте Лесник.

Дачо обещал спеть солдатскую песню „Аннушка, дай мне любовь!“

– Почему Аннушка, – вмешалась жена Дачо, прислушивающаяся к разговору у дверей сарая, – откуда взялась эта Аннушка? – Из прозрачных озерных вод, – ответил Дачо через плечо, заговорщицки подмигивая Леснику. – Хорошо, – согласился Лесник, – раз хочешь, спой про Аннушку.

– Петь я не умею и стихотворений не знаю, – сказал Леснику Гунчев, – наша Гена, помню, декламировала „Крокус, милый братик“, и я его знал, но забыл. Вот если надо перенести что-нибудь тяжелое, я готов! Позову Йордана-цирюльника, и вдвоем все сделаем. Но номер программы... – Знать ничего не хочу, – строго сказал Лесник, – позови Йордана и чтоб к вечеру что-нибудь придумали – индивидуально или коллективно. Вы, Гунчев, – наша гордость, ударники, висите на Доске почета, целый год смотрим на ваши портреты, прими это как партийное поручение, понял? – Понял, – ответил Гунчев, и его красивые женские глаза жалобно мигнули, – раз это поручение, что-нибудь придумаем.

Улах варил во дворе суп в большом котле. Вся семья наблюдала, как он священнодействует половником. Улахиня держала на руках одиннадцатого отпрыска, живот у нее вновь выдавался вперед. Какой номер программы он может исполнить? – подумал Лесник. – У него всегда один номер – родится младенец, сразу зака-



зывает следующего. – Кларнет в порядке? – спросил он. – В порядке, – широко улыбаясь, ответил Улах. Улыбка пробежала по всем лицам, образовав полукруг. Лесник вышел из бывшего дома бабки Мины, который сельсовет дал Улаху как представителю нацменьшинства, все больше становившегося большинством. Ничего, пусть рожают, – сказал мысленно Лесник, рассуждая по-государственному, – пусть рожают!

В конце своего обхода он пришел к Сеизу и нашел его в нижней комнате. Сеиз лежал возле печки, накрытый стеганым одеялом без простыни и сверху еще одним – в пальмах, бледный, готовый в последний путь, а рядом сидела по-турецки бабка Неделя, неподвижно глядя на него вечно молодыми зелеными глазами, и ждала.

Ждет, когда преставится, проклятая! – произнес мысленно Лесник, – всех нас принимала, всех и похоронит, но тут же спохватился: ведь это она затопила печку, вскипятила молоко умирающему, ухаживала за ним, потому что у него никого нет! Благодарно кивнув ей, Лесник подошел к постели:

– Сеиз! – позвал он шепотом.

– А! – вздрогнул Сеиз, возвращаясь из дальних далей, которые его ждали.

– Сеиз, вечером мы устраиваем новогодний праздник. Все придут, слышишь?

– Слышу, – глухо проговорил Сеиз, взгляд его угасал.

– Испекут пирог со „счастьями“, – продолжал Лесник. – Для каждого будет. И для тебя тоже, Сеиз, слышишь? – Сеиз кивнул. взгляд его немного оживился. Лесник прибавил: – Может, еще обойдется, Сеиз, ты не сдавайся!

Умирающий перевел взгляд на лицо бабки Недели

в зеленом сиянии глаз, и черты его немного разгладились. Нос еще не совсем заострился, – подумал с надеждой Лесник, – может, еще выкарабкается.

– Не сдавайся, Сеиз! – Он погладил все еще теплую костлявую руку. – Мы для тебя тоже положим „счастье“ в пирог. Я лично выберу кусок пирога и принесу тебе. Не сдавайся, слышишь! Может, обойдется...

– Нет, Лесник... – с трудом произнес Сеиз, – но ты... ты... при... принеси мне... мое „счастье“... хорошо?

– Хорошо, – сказал Лесник и, вынув блокнот, записал:

„Сеиз – „счастье“.

## НАЧАЛО

Недьо постучал в ворота. Немного подождал: в доме было тихо, никакого движения. Он снова постучал: опять тишина. Наконец послышался скрип открываемой двери, шаги, звон упавшего котелка. Появилась бабка Неделя. По смущенному лицу Недьо она сразу поняла, в чем дело, но все же спросила:

– Началось?

– Вроде да, – пробормотал он.

– Сейчас иду, – сказала она.

После сна с совой Дачо проснулся. Провел рукой по лицу в поисках ран – сова долго и сильно клевала его в лицо – но ран не было. Услышав стук в соседние ворота, Дачо встал с постели и подошел к окну.

– Началось, – сказал он жене.

– Что? – сонно спросила та. – Дождь?

Ей как раз снилось, что на улице жара, как-то поособому парит, а на горизонте собираются тяжелые тучи.

– Да нет, – толкнул ее Дачо, – никакой не дождь, а Зорка рожать собралась. Недьо пришел за бабкой Неделей.

– Ой! – вскрикнула жена и соскочила с постели.

Пока Дачо будил Лесника, она сбегала к Графице. Та разбудила Спаса, а Спас – Босьо. Графица сбегала к Оглобле, а потом к деду Стефану. Услышав на улице голоса, Гунчев вместе с Американцем разбудили Йордана-цирюльника, которому как раз снилась восхити-

тельная женщина – крупная; сильная; четвертая его жена тоже умерла, и все говорили, что это он ее умирал, как и трех предыдущих. Генерал вообще еще не ложился. Он встал из-за пишущей машинки, не успев прочесть написанного. Председатель услышал под окном шум и голоса и подумал, что, как и в прошлом году, загорелась кооперативная солома, и вытащил из-под подушки револьвер. В домах, что стояли в верхней части улицы, уже зажигались лампы, старухи поднимались с постелей, старики надрывно кашляли. Село проснулось среди ночи, все еще укрытое снегом, хотя с вечера было слышно, как бушует южный ветер на перевале, а известно, что если он спустится вниз, в село, от снега не останется и следа. Генерал надел старую шинель и вышел; по улице шли люди, и он пошел вместе с ними; одни тихо разговаривали, другие молчали, еще не до конца проснувшись. Перед домом Недьо скоро собралась целая толпа. Зоркин дом был темным. После женитьбы Недьо разобрал ограду между двумя дворами, но со стороны улицы все оставил по-старому, и сейчас у них было двое ворот и два дома, а двор один. Люди входили в ворота, искали местечко посуше, хотя ничто не предвещало дождя. Все село собралось во дворе Зорки и Недьо.

– Фельдшер Кольо, как назло, только что уехал на курсы, – с досадой говорил Лесник. – Надо было вызвать из Злаганово акушерку. Бабка Неделя уже плохо видит, да и вообще...

– Бабка Неделя, Лесник, – повитуха что надо! – заявила бабка Анна и пошла в дом – помогать. Вслед за ней двинулись бабка Велика, бабка Петра, бабка Ралка, бабка Черна, бабка Дамяница. Графица и Стояна пошли было за ними, но Председатель их остановил.

– Хватит там народу, – сказал он, застегивая дубле-

ный полушубок. – Вы что, совещание хотите устроить?

– Хорошо, – отозвалась Графица, – но ведь и мы можем чем-то помочь – воды принести или еще что...

– Там есть кому это сделать, – успокоил их Председатель. – Мы уже дали соответствующие распоряжения, образована бригада по оказанию помощи. Если потребуется, пошлем и вас, а пока стойте и помалкивайте.

Но помалкивать никому не хотелось. Одни толпились, тихо разговаривая, у сараев и под навесами, другие топтались в снежном месиве посреди двора. Завывание южного ветра утихло, слышался звон капли, кашель, треск зажигаемых спичек. Пахло печным дымом, который из-за безветрия стелился по земле, прижимаясь к закопанным виноградным лозам, табаком, овчиной и еще многим другим. Люди принюхивались к этим запахам и удивлялись, как давно они не собирались вместе. А посреди зимней ночи и вовсе никогда не собирались. Потому-то им и не хотелось молчать. Даже Улах испытывал желание сказать что-то, но не знал что именно. Директор бывшей школы учитель Димов взволнованно прошептал:

– Это первые роды за столько лет!

– А Улах? – напомнил Спас.

– Улах не коренной житель, – сказал Лесник.

– Ты что хочешь этим сказать? – почувствовал себя задетым Председатель. – Я тоже не коренной житель. Еще чего не хватало – делить людей на коренных и не коренных жителей! В нашей республике все граждане равны!

– Конечно, равны, – спокойно произнес Лесник, – но население состоит из различных слоев.

– Какие еще слои? – Председатель нахмурился и тихо шепнул Леснику: – Ты что, разжигаешь расовые вопросы? Что это за дискриминация?

– Да нет, Председатель, – засмеялся Лесник. – Улах – наш, но в селе человек еще новый.

– Не такой уж и новый, – еще больше обиделся Председатель. – Я тоже не такой уж новый.

– Да нет, конечно, – вмешался Спас. – Мы к тебе уже привыкли.

Они замолчали, примиренные. Дачо воспользовался моментом:

– А мне как раз снилась сова, будто она клюет меня в лицо. Наверное, это не к добру...

– Не к добру, – подтвердил дед Стефан. – Мне однажды тоже приснилась сова. Тоже клевала меня в лицо... А вскоре у меня отобрали бахчу.

– Ты эту бахчу сто лет не можешь забыть, – недовольно прервал его Лесник. – Возьмем да и вернем тебе ее, подумаешь, каких-то тридцать соток...

– Тридцать две сотки, – поправил его дед Стефан. – Не нужно мне ее возвращать. – Он хлюпнул носом. – Я уже не горюю о ней. А кроме того, ежели что-то отобрать, а потом вернуть – это не то.

– Это точно, совсем не то, – мрачно заметил Американец. – Уж кому как не мне это знать!

Босьо тоже хотелось вмешаться и сказать, какие справедливые эти слова, но он сдержался. „Да, – подумал он, – ничего, что когда-то было, не возвращается таким же. Вот и птичка – вернулась, спела мою собственную песню, а я не могу объяснить ее другим. И тополь уже не тот, прежний, который мы срубили с отцом. Всякий тополь, всякая песня, всякая птичка – различны, – грустно заключил Босьо, – и мы тоже различны, хотя вроде бы те же самые“. – И Босьо мысленно умолк.

Облака немного поредели, показались звезды, но капель продолжалась. Во дворе тут и там трепетали

огоньки сигарет, трепетали и человеческие сердца. Люди расселись на кадушки, на ящики, на колоды, на дрова под навесом – повсюду. Дед Стефан взобрался на свою бывшую бричку, купленную сельсоветом для погребальных целей, а сейчас стоявшую во дворе у Недьо после ремонта рессор.

– А мне снилось, что пойдет дождь, – решила сказать что-то и жена Дачо, но он грубо оборвал ее:

– Помолчи! Тебя никто не спрашивает, что тебе снилось.

Женщина замолчала, но мысленно ответила мужу, как полагается. Удовлетворенная, еще несколько раз повторила про себя свой ответ, потом притихла, ожидая, что скажут другие. Но тут опять заговорил Дачо:

– Приходится удивляться этой Зорке! У самой уже внуки и опять рожают! Здоровая у нее утроба, весь род у нее такой – крепкий, здоровый.

– А сыновья и дочери Зорки и Недьо, что живут в городе? – проговорил Спас. – Они проклянут их навеки.

– Не проклянут, – сказал Председатель. – Мы все на стороне Зорки и Недьо. Вся страна на их стороне и все законы. Я оформил их гражданский брак, как вдовца и вдовы. Столько лет были они добрыми соседями, а сейчас между ними любовь, чего же им жить в одиночестве? Никто не имеет права их проклинать.

– Только бы ребенок родился здоровым! – прошептал Гунчев, его красивые женские глаза неотрывно глядели на освещенные окна.

– Может и умереть, – сказал Дачо. – В определенном возрасте кровь у женщин становится ядовитой.

– Это у тебя рот ядовитый! – не выдержала его жена, но он толкнул ее в бок и прошипел:

– Тебя никто не спрашивает! Лучше молчи!

– Ой, хоть бы ребеночек был здоровеньким! – промолвила Стояна, и слезы покатались у нее по щекам. Заплакала и Графица, заразившись стояниньими слезами, некоторые из женщин тоже начали всхлипывать, вспомнив, когда сами рожали, прослезились и мужчины: плач ведь как смех, передается от одного к другому – не остановишь.

– Уф. ну что вы распустили нюни, будто на похоронах! – возмутился Лесник. – А ты, Улах, принеси на всякий случай кларнет.

– Не хочу, – испугался Улах. – Не принесу я его. Я ему говорю одно, а он играет другое.

– Будет играть то, что ты ему скажешь! – отрезал Лесник. – От тебя зависит, что он будет играть. Иди принеси кларнет!

– Не принесу, – заупрямился Улах и начал отступать к воротам.

– Ступай за кларнетом! – крикнул ему Лесник. – Не бойся, не будет никаких выводов.

– Ну, если не будет, принесу, – недоверчиво протянул Улах.

Недьо ходил по террасе, как пьяный. Передвигал стулья, потом спустился вниз, взял коромысло, снова повесил. Из комнаты доносились стоны роженицы и тихие заклинания бабки Недели. То и дело туда входили и оттуда выходили старухи, возбужденно перешептывались, прогоняли Недьо, заговорщицки улыбаясь друг другу.

– Недьо, – крикнул ему снизу Лесник, – иди сюда, к народу! Ты свое дело сделал, теперь будешь ждать вместе с нами.

Вспыхнул смех, слезы высохли, даже Оглобля засмеялся. Босьо мысленно улыбнулся, только Американец сохранил на лице неизменное выражение, хотя внутри у него все дрожало от смеха.



– И все же эта сова, что мне приснилась, не к добру, – сказал Дачо.

– Не каркай, брат, – одернул его Спас. – Хватит уже про эту сову! Человек ты вроде прогрессивный, а веришь снам.

– Не верю, – отозвался Дачо, – но кто его знает, ведь каждый сон что-то да означает.

– Это верно, – согласился Спас. – Действительно, означает, но это целая наука, а не суеверие. Я читал об этом. Все, что ты пережил, в тебе перемалывается, а потом снова появляется.

– Но я уже давным-давно не видел и не слышал совы! – удивился Дачо. – Откуда она тогда появилась?

– Просто ты до сих пор ее не замечал, – расплылся Спас в ухмылке, подмигивая в сторону его жены.

Все разразились смехом, только Дачо с женой не могли понять причину этого веселья, но на всякий случай обиделись и замолчали.

В этот момент примчался, запыхавшись, ЖэДэ. Вытирая носовым платком лицо, он уселся на чурбан и прерывающимся голосом принялся рассказывать:

– Проснулся я... так, без причины... гляжу, все село освещено... Ну... говорю себе... или всеобщая мобилизация... или атомная война началась... Всю дорогу бежал... а оно, оказывается, вот что!

– Ты, ЖэДэ, от любопытства лопнешь! – подал голос дед Стефан со своей бывшей брочки. – А ежели сейчас поезд, кто даст ему путь?

– Сейчас нет поездов. Первый будет ровно в ноль-пять, ноль-ноль. Пройдет по первому пути.

– А кто пройдет по второму пути? – спросил Спас.

– По второму пройдешь ты, – зло ответил ЖэДэ. – Как его построим, отправим по нему тебя ногами вперед вместе с твоим проклятым казанлыкским ишаком.

– Тут новая жизнь рождается, – сказал Спас, – а он смерть кличет! Похоже, у нас теперь две совы!

Все рассмеялись. С террасы их одернула бабка Анна:

– Тише! Раскудахтались тут, будьте неладны!

Из комнаты роженицы доносились короткие вскрики. Недьо снова кинулся к дому, но бабка Анна вернула его обратно. Председатель хотел взглянуть на часы, но оказалось, что он их забыл дома. В то же время карман его оттягивал револьвер. „Фу ты, черт, – мысленно выругался Председатель, – зачем мне нужно было брать с собой эту штуку? А часы забыл. Когда родится ребенок, мы даже не узнаем, в котором часу он родился“. Крики в комнате усилились, люди наострили уши. Но потом все стихло, и вдруг зазвенело кровельное железо, завыло в печных трубах, затрещали ветви деревьев, захлопали створки ворот. Это внезапно прилетел южный ветер. Стало слышно, как он воет на перевале: если там есть снег, за несколько часов растает. Каждому пришло в голову, что завтра после южного ветра может прилететь северный и снова засыпать село снегом. Только Недьо не думал ни о перевале, ни о ветрах. Сев на перевернутую корзину, он прошептал:

– Она может и умереть, бедняжка!

– Не умрет! – уверенно заявил Спас. – Вот увидишь, это я тебе говорю! Родит и не умрет!

– Не умрет, – сказал Лесник.

– Не умрет, – поддержал его Председатель. И тогда все, кто собрался во дворе, сказали:

– Не умрет!

Видя перед собой столько лиц, слыша столько голосов, Недьо проговорил:

– Боже мой!

Генерал, молча стоявший, прислонясь к поленнице,

расстегнул шинель: ему стало жарко. Он знал, что обязательно напишет об этой необыкновенной ночи; ему казалось, что он уже пишет – порой ведь так трудно отличить реальное от изложенного на бумаге. „Да, – записал он в уме, – люди живут и выдерживают все. Жизнь продолжается, несмотря ни на что, она сильнее любых преград и несчастий, она течет, идет, летит – везде и повсюду. Получилось немного схематично, – подумалось ему, – как статья, но ведь статьи таковы, какова жизнь“. И он продолжал писать в уме.

– Хорошо, но как тогда мы назовем ребенка? – спросил в наступившей тишине Дачо.

– Если будет девочка, надо назвать ее именем нашего села, – произнес Гунчев, его красивые глаза расширились. – Будет совсем неплохо.

– Девочка не родится, – сказал Йордан-цирюльник.

– А ты-то откуда знаешь? – спросил Лесник.

– Знаю. У Недьо рождаются только мальчишки.

– А у Зорки – только девчонки, – возразил ЖэДэ. – Будет девочка.

Разгорелся спор, кто вероятнее всего родится. В это время появился Улах с завернутым в мешок кларнетом. Войдя во двор, он поспешил скрыться в тени подале от Лесника. Со своей бывшей брички подал голос дед Стефан:

– Родится мальчик. Как его назовем?

Председатель почесал в голове:

– У меня есть идея – назовем его Димитром в честь нашего долгожителя деда Димитра, который недавно скончался, прожив сто лет. Пусть ребенок будет носить его имя и живет сто один год!

Люди задумались. Прикидывали и так, и эдак и решили, что будет хорошо, если новорожденную назовут в честь села, а новорожденного – в честь деда Димитра.

Ведь дети Зорки и Недьо были названы в честь своих бабушек и дедушек, так что родовые традиции соблюдены, а этот новый брак – совсем другое дело. Каждый чувствовал, что он как-то причастен к нему. Лесник прямо заявил об этом:

– Мы все причастны к этому браку, он – наше общее, коллективное, я бы даже сказал, – государственное дело. Решать вопрос об имени ребенка должны мы с вами, и я даже предлагаю проголосовать открытым голосованием. Кто согласен?

– Все согласны! – Люди подняли руки.

– Погодите! – крикнул Спас. – Погодите и послушайте, что я скажу, все же я посаженный отец Недьо. Существует ведь демократия, а мы даже не спросили отца и мать ребенка. Вот он Недьо, сидит на корзине, а мы голосуем без него.

– Тогда снова проголосуем, – проговорил Недьо, как во сне, вставая с корзины.

Лесник торжественно объявил:

– Хорошо. Кто за то, чтобы назвать новорожденного в честь нашего села, если будет девочка, или в честь деда Димитра-долгожителя, если будет мальчик? Кто согласен, прошу поднять руки.

И поднял руку. Все проголосовали „за“, включительно и Недьо. Никто не был „против“, никто не воздержался. Люди даже не заметили, что при голосовании все встали, даже Улах вышел из тени. „Да, – записал мысленно Генерал, – мы все единодушно проголосовали „за“ и были сплочены, как полк перед боем. Словно нам предстояло тяжелое сражение, самое крупное и важное для нашего полка“. „Да, – произнес про себя Босьо, – каждый рождается один раз и только раз находит свою птичку. Только она может спеть ему песню, созданную для него одного и ни для кого больше“.

Председатель огляделся вокруг и громко произнес в тишине:

– Эй, ну и люди у нас! Золото!

– Иван! – позвал Спас, и все обернулись к нему, чтобы понять, к кому он обращается. Председатель тоже оглянулся, увидел, что Спас смотрит на него, и произнес его имя. – Иван... – повторил Спас. – Иван! – сказал он в третий раз и замолчал.

Тогда все позвали в один голос:

– Иван!

Председатель разинул от удивления рот: впервые его называли по имени, причем все сразу; Лесник тоже растерялся, люди стали о чем-то перешептываться, с ними что-то случилось, но что именно – никто не понял, а если кто-то и понял, то не смог бы сейчас объяснить. Все были настолько увлечены голосованием, а потом внезапно наступившим смятением чувств, что не заметили, когда на террасе появилась бабка Неделя. В следующий миг, увидев ее, ощутив яркий свет ее вечно молодых зеленых глаз, толпа качнулась к ней. А она громко, изо всех сил, чтобы услышали все собравшиеся, возвестила нараспев:

– Поздравьте себя, люди! Родился мальчик!

## ВЕЧНЫЕ ВРЕМЕНА

Иван перевел дух.

Он закончил копать могилу. Получилась она неглубокой – чуть больше метра при ширине в полметра, но этого было вполне достаточно для ящика: ящик – не гроб. Повернувшись лицом к вербе, его жена Коца тихо всхлипывала. Была она жалостливой, плакала от всякой малости. Рядом тянулись свежие могилы, земля была серо-желтого цвета, трава на ней еще не выросла. Кладбище продолжили, Ликоманов выбил участок специально для поселенцев, чтобы они там хоронили своих покойников. Если она такая жалостливая, раздраженно спрашивал себя Иван, почему без конца ворчит – по поводу и без повода? Одетая во все новое, его мать, бабка Черна, сидела на корточках перед ящиком. Что мы тянем, кипел внутри Иван, надо зарыть ящик и уходить, Ликоманов меня ждет, а я стою тут, только время теряю; и Стояна с собой притащили, зачем притащили, зачем парнишке все это? Нахмурясь, он пробежал взглядом по широкой спине жены, склоненной фигуре матери и остановил на сыне – крупном крепком мальчугане. Вот сколько нас осталось, растрогавшись, подумал он, остальные – кто где. Они с матерью долго спорили: она хотела поставить на могиле крест, а Иван – пирамидку, красного цвета, как у других. Никаких пирамидок, еще и красных, заявила ему мать, раньше лежал под крестом и сейчас будет под крестом. Сколотил Иван крест, покрасил в черный

цвет, написал белыми буквами имя отца, даты рождения и смерти. Двадцать лет прошло с того времени, когда он умер.

Дул теплый ветер, от которого пересыхало во рту. Неподалеку, у кромки поля, чирикали воробьи. Бабка Черна положила руку на покрашенный в черное ящик, Коца продолжала всхлипывать, Стоян, часто моргая, смотрел на руки бабушки.

– Стоян! – выдохнула бабка Черна. Мальчуган вздрогнул.

– Мама, – хрипло промолвил Иван, – если можно, давай как-нибудь побыстрее!

Бабка Черна подняла голову, ее темное морщинистое лицо с сухими глазами потемнело еще больше. Иван замолчал. Она стала гладить ящик и рассказывать, что вот они покинули родное село и переселились сюда, на равнину, где нет ни холмов, ни гор. Земля здесь плодородная, много и тракторов, комбайнов, удобрений, есть даже авиация, но наша земля была другой.

– Да какой другой? – вскинулся Иван. – Одни камни!

– Камни?! – прошипела бабка Черна. – Эти камни тебя кормили, вон какой вымахал!

Не слушай Ивана, снова обратилась она к ящику, он благодаря этим камням и вырос, но не будем сейчас об этом, а ты о нас не тужи: у нас все хорошо, дом Иван построил трехэтажный, есть и двор, и огород, дом еще не оштукатурен и не покрашен, сейчас с этим не торопятся, но Иван мне обещал, что все сделает, потому как дом без штукатурки и покраски все равно что оципаный цыпленок. Земля тут богатая, что посадишь – растет, денег хватает, Иван даже купил стиральную машину, хотя воду еще не провели, но не будем об этом, а вода есть, даже поля поливают. А люди здесь,

Стоян, все больше пришлые, стекаются из наших сел и из выселков, вот я и сказала Ивану: езжай, привези сюда своего отца, там ему делать уже нечего, он сперва не хотел, но потом согласился, чтобы ты был с нами, хоть и на чужой земле, – а Иван как вскинется: не чужая это земля, а наша, народная, государственная, а я ему говорю – нет, не наша, а чья – не знаю, а Иван нахмурился, страшным коммунистом он стал, страшнее Лесника, который землю у людей отобрал, а сейчас не знает, что с ней делать, да, но Иван не дает слова против них сказать...

– Мама, – перебил ее Иван, оглядываясь по сторонам, – давай покороче! Сюда люди придут.

– Да мы ж тут не крадем! Стоян, – повернулась она к внуку, – иди-ка сюда, иди!

– Оставь ребенка, – сказал Иван, – пора уже закапывать.

– Иди сюда, Стоян, – снова позвала бабка Черна, не обращая внимания на сына, – ты его продолжил, ты его носишь.

– Чего ношу? – не понял внук, приближаясь.

– Имя дедушки, говорю, носишь. Иди-ка сюда.

Внук, надувшись, встал рядом с ней на колени. На кресте, лежавшем возле ящика, было написано его имя – Стоян Иванов Стоянов, но мальчик не помнил деда и не испытывал грусти.

– Положи сюда руки! – сказала ему бабка Черна, и он положил свои ладони рядом с ее. Ящик был чужим и холодным, черная краска еще прилипала к пальцам. – Вот и говорю я тебе, Стоян, (мальчик посмотрел на нее, будто она обращалась к нему) – да не тебе, ты молчи и слушай, стало быть, говорю тебе, чтоб знал: внучка твоя Цонка учится в городе в вычислительном тех-



никуме – сейчас все вычисляется, а внук Бончо служит в армии, недавно был на побывке, носит усы, похож на тебя, как две капли воды. Когда уволится из армии, будет учиться на доктора – сейчас все кругом доктора да ученые, а младший внук – вот он, здесь, рядом, малой еще и ленивый, ему только телевидение подавай, умолит его это проклятое телевидение, но что делать, он тебя продолжает, твое имя носит...

– Мама, – подала голос и Коца, уже переставшая всхлипывать.

– Ты молчи! – отрезала бабка Черна.

Коца умолкла. Иван курил, оглядываясь по сторонам и кусая губы. Коца вспомнила своих родителей, умерших давно, свою молодость, но эти мысли были тут же вытеснены другими – о нынешних делах и заботах. Она подумала о Бончо и медсестре, с которой тот встречается. Он не дурак, должен понимать – сначала надо отслужить, потом выучиться на врача и уж потом думать о женитьбе. Те, которых ты будешь любить, сказала она ему во время их последней встречи у ворот казармы, сейчас только еще родились. Бончо засмеялся и сделал глоток ракии, которую она ему принесла, и младший сержант тоже глотнул, озираясь на тополиную аллею – не появилось ли там какое-либо начальство. Подумала Коца и о Цонке: ей легко дается математика, она будет работать в вычислительном центре. И в кого она такая уверенная в себе, самостоятельная, с высоким лбом? Надо будет еще раз напомнить Ивану, чтобы дал ей те пятьдесят левов – пусть сошьет себе длинное пальто – они сейчас в моде. – Я ей покажу пятьдесят левов и длинное пальто, вскипел Иван, еще недавно все уши мне прожужжала насчет короткого платья, в котором все ноги наружу, а теперь – длинное пальто! Переупрямить Ивана трудно, но если он не

даст ей деньги, я дам из премиальных... Коца взглянула на свекровь: ну что она мучит парнишку? Преклонение перед давно забытым покойником и жалость испарилась. Побыстрее бы она кончила, подумала Коца, а то мы уже становимся смешными.

– Мама, – не выдержал Иван, – давай его закопаем, а ты после этого с ним поговоришь. Меня ждут дела.

– После этого?! – взвизгнула бабка Черна. – Всю жизнь после этого да после того! Двадцать лет я молчала! – Раскинув руки, она воскликнула плачущим голосом: – Стоян!

– А? – отозвался внук и попытался встать с колен: ноги у него онемели.

– Стоян! Стоян! – заголосила бабка Черна, обнимая ящик.

Лишь сейчас Ивана охватила печаль, в горле застрял ком. Целый год она просила его перевезти кости отца, и он наконец согласился. Взял мотоцикл, привязал сзади ящик и лопату и поехал в село, на кладбище. С трудом нашел могилу, крест совсем выцвел, буквы почти невозможно прочесть, лампадка разбита, кругом бурьян. На могиле среди сорняков вырос и дикий чеснок. Иван вырвал его и почувствовал тошноту. Неожиданно из зарослей зелени появилась бабка Неделя.

– Будешь выкапывать его, Иван?

Иван не ответил. Вонзил лопату в землю в изножье могилы. Двадцать лет назад, когда хоронили его отца, бабка Неделя тоже была здесь.

Между могилами тогда виднелись островки еще не растаявшего снега: в местах, где припекало солнце, сновали взад и вперед муравьи, над землей поднимался легкий парок. Иван ощущал слабость в ногах, перед глазами дрожало голубоватое марево. Священник пел в нос, рядом летали голуби. Приехали и братья Ивана

– Крыстю, майор, подтянутый и торжественный с красным загривком и заплаканными глазами, и Игнат – бледный, измученный, в тонком черном пальто и легких полуботинках, которые он старался не запачкать. Мать, обняв гроб, гладила ноги покойного и голосила. Она рыдала и причитала: на кого ты нас оставил, куда девались наши нивы, почему ты не продал в свое время ниву возле Урукского водопоя; вспоминала вола Сивчо, стучавшего ночью рогами о ясли, когда хотел дить, собаку Гарци, венчание с покойным, когда он ее выкрал и они убежали в нижний квартал, к Гунчовским. Бабка Неделя, присев на корточки у изголовья покойного, смахивала с его лица муравьев и раскладывала цветы. Она принимала его, когда он родился, и она же обмыла его, когда он умер. Всех жителей села принимала бабка Неделя и всех их она обмоет и проводит в последний путь...

– Будешь выкапывать его, Иван?

– Да, буду его выкапывать, – веско произнес Иван, глядя в землю.

Доски обратились в труху, едва лишь он коснулся их лопатой. Прах, подумал Иван, остался только прах, больше ничего. Грусти он не ощущал, в душе царил холод, словно он копал обыкновенный колодец. Огрубевшая его душа, исполненная будничных забот, не поддавалась жалости. Он не мог вернуть из небытия ни прошлое, ни свою молодость, ни напластования минувших лет. Он просто копал землю. Обернувшись в какой-то момент, увидел горящие зеленые глаза бабки Недели и невольно вздрогнул. Отложив лопату, нагнулся и погрузил руки в прах. Прах, один прах, но вот пальцы нащупали кости. Он стал вытаскивать их по одной, очищая от земли и складывая в полиэтиленовый мешок. Потом покидал вырытую землю обратно в мо-

гилу, сровнял ее с землей, а крест бросил в бурьян. Наконец, все закончив, выпрямился – потный, угрюмый. Ему было стыдно: он стыдился этих костей, этого дня...

– Иван! – позвала бабка Неделя.

– Чего? – вздрогнул он от неожиданности: он совсем про нее забыл.

– Ты туда их повезешь?

– Да.

– А Черна как? Жива?

– Жива.

– Она долго жить будет. Когда я ее принимала, еле отрезала пуповину. Крепкая у нее пуповина, Иван.

И бабка Неделя снова уставилась на него. Не выдержав ее взгляда, он наклонился, взял мешок и положил его в ящик. Он заранее прибил к бокам ящика ручки и сейчас, подняв его, удивился его легкости. И тут ему вспомнился день, когда он впервые увидел склонившееся над ним широкое лицо отца, заслонившее собой солнце. И в этой тени Иван услышал его голос, слова о земле и снопах, звон колокольчиков вечерних стад, шум маслобойни. Громаден был тогда его отец, выше Балканских гор!

– Иван!

Поставив ящик на землю, он стал надевать нейлоновую куртку с двумя пряжками на спине.

– Знаешь, что я его принимала?

– Знаю.

– И тебя тоже, знаешь?

– Знаю. Ну и что из того?

– Ничего. А знаешь, от чего умер твой отец?

– Да. От сердца.

– Хм, от сердца! Он через тебя умер, Иван.

– Не болтай глупости!

– Через тебя. От того, что ты отдал землю...

– Ну давай, сынок, – произнесла наконец бабка Черна.

Она поцеловала ящик, затем заставила сделать то же сноху и внука. Иван также коснулся сжатыми обветренными губами крышки ящика и почувствовал запах свежей краски. На миг ему показалось странным, что он склонился над своим отцом, заслонив собой солнце, и что вокруг нет ни холмов, ни Балканских гор: С прилегающего к кладбищу поля доносился глухой гул тракторов. Не было рядом и братьев: Крыстю, давно вышедшего на пенсию, и Игната, который приехал на похороны отца в тонком пальто и полуботинках и все внимание которого было направлено на то, чтобы их не запачкать. Не было и меж, которые тогда распахивали, не было маленьких полей первого кооператива, не было собраний до рассвета, пропахших табаком комнат, металлических прутьев, втыкаемых в сено и солому в сараях в поисках спрятанного зерна, Велико, который повесился в хлеву, тетрадок, в которые Иван Стоянов записывал кривыми буквами факты науки и политики, не было и двухсот двадцати соток земли его отца, проклятых двухсот двадцати соток!

Каждый бросил на ящик горсть земли, и Иван начал его закапывать. Действуя лопатой, он испытывал чувство, что хоронит не только кости отца, но и старое родное село. Сурово сжав губы, он бросил в могилу и Бараган, и бахчу, и ниву возле Урукского водопоя, и луг в Кожукской местности, и участок на Старых виноградниках. Она давно уже снес отчий дом, но тот рухнул по-настоящему лишь сейчас, после того, как он закопал ящик. Он зарыл и холмы, и Новые виноградники, и Бугор, а под конец сбросил в могилу и Балканские горы, засыпав их сверху равнинной землей. Оформив

могилу нормального размера, он воткнул крест в верхней ее части и выпрямился.

Бабка Черна полила вином свежий гроб, положила на него цветы и развязала белый узелок. Положила каждому в протянутую ладонь немного сладкого поминального жита и стала слушать, как его жуют. Все медленно жевали: Иван, суровый и угрюмый, Коца, рассеянная и равнодушная, с пустыми глазами, и Стоян, взгляд которого реял неизвестно где. Потом она вытащила коробку шоколадных конфет „Мокка“, разорвала обертку. Все взяли по конфете.

– Возьми еще одну, – сказала она внуку, ласково улыбаясь. – Ты же назван в честь него.

Стоян взял еще одну конфету. Хоть бы кости ему показали, а то так, какой-то ящик. Мальчуган мигнул: солнце светило прямо в глаза. Вторая конфета незаметно растаяла у него во рту, но попросить третью он не решался.

– Ну, мама, я пойду, – сказал, облегченно вздохнув, Иван. – Ликоманов меня ждет.

– Иди, – махнула рукой бабка Черна. – Все идите.

– А ты? – спросила Коца. – Не хочешь вернуться вместе с нами?

Старуха не ответила. Подождав, пока они свернут на тропинку, она взяла из узелка горсть жита, положила на бумагу и оставила под крестом. Поправила цветы и присела у могилы.

– Эх, Стоян, – заговорила она. – Вот это место слева – для меня. Я заставила Ивана купить оба места – твое и мое – на вечные времена. Теперь, правда, нет ничего, чтоб навечно, никто не знает, может, еще завтра пройдет здесь трактор и сровняет наши могилы.

Бабка Черна прислушалась к гулу трактора в поле, но не повернула головы.

– Но даже если здесь все распашут, – продолжала она, глядя землю, – мы все равно останемся вместе, никто нас не разлучит. Ты о земле не думай, Стоян, прежних нив уже нет, да и нынешних полей скоро не будет – будут организовывать комплексы. Наш Иван и ложится, и встает с этими комплексами на уме. Массивы, говорит, мама, мы создавать будем – современное хозяйство: каждый массив по две тысячи гектаров, Они все тысячами меряют, меньше уже не могут. Что решат, то и делают, некому их остановить. Раньше город далеко был, на другом конце света, а теперь все близко. Сейчас и луна для них близко, уже ходят по ней – по телевизору показывали. Ежели бы ты встал из гроба да заглянул в телевизор, глазам своим не поверил. Ничего не осталось, Стоян, только жадность осталась, они хотят все больше и больше, земли им уже не хватает – по небу шныряют, а куда доходит небо, одному богу известно, а забот хоть отбавляй, но ты не печалься, Стоян, теперь и ты близко, в двух шагах – буду приходить, цветы тебе приносить, водицей могилку поливать, жито оставлять, оно, правда, не собственное, покупное, но другого нету. Дом Ивана тоже близко, Ивану все дается, и дети уже выросли, и дети Крыстю и Игната учатся, в жизни устраиваются, а дочка Крыстю – Виолетта – родила мальчонку, его твоим именем назвали, опять ты имеешь продолжение. Стоянов стало у нас много, все твое имя носят, но куда его понесут, одному господу ведомо, ежели решат на луну лететь, полетят и твое имя туда принесут, а вот моего имени никто не носит. Семь внучек у меня, и ни одну не называли моим именем, никому оно не нравится, потому как черное оно, – не хотят испытывать судьбу. Боятся имени моего – Черна, а мне оно на роду написано, с ним и живу, бабка Неделя, принимая меня, никак не могла

пуповину отрезать, крепко я к жизни привязана, и она еще жива, в селе остались только она, да Спас, да Лесник, который землю у нас взял и все за социализм агитировал, и еще горстка людей, а бабка Неделя привет мне передала через Ивана, когда он ездил тебя выкапывать, и сказала ему, что принимала его отца, мать, и его самого. Она тебя и провожала, Стоян, когда ты отправился в дальний путь, обмыла, придела. Где ты был, что видел – одному тебе известно, но тогда мы тебя провожали, а теперь вот опять встретили. Может, времена уже не вечные, Стоян, но пусть мы будем вечными и нераздельными.

Бабка Черна встала и поклонилась до земли:

– Добро пожаловать, Стоян, на новое место! Жди теперь меня!



## МЛАДЕНЦЫ

Отец его Недьо отправился вместе с Лесником, Гунчевым и Йорданом-цирюльником в поле – сеять, а мать, как всегда, была на птицеферме. Чтоб им пусто было, этим легхорнам, – подумал маленький Димитр, – мать кормит их, кормит, а они все голодные! Он не раз пытался с ними играть, но разве легхорны понимают что-нибудь в игре?! Мальчик тяжело вздохнул: впереди долгий день, а село пусто. Лишь вернувшаяся с кладбища бабка Неделя сидит в тени балкона на видном месте – чтобы все ее видели и она чтоб видела всех.

Но вот из окошка Другого дома высунулась голова Рурки.

– Рурка! – позвал Димитр.

– Что?

– Выйди, поиграем!

– Не могу! У меня большая стирка.

– Давай играть! Потом постираешь.

– А во что?

– В отцы-матери. Ты будешь мать, а я отец.

– Нужен и ребеночек, – сказала Рурка. – Кто будет ребеночком?

Димитр почесал в голове. Кто же будет ребенком? Откуда здесь взять ребенка? Пока он размышлял, Рурка скрылась внутри Другого дома. У нее стирка, с досадой подумал Димитр, а у меня что?

– Нет никакой Рурки, – сказал ему отец.

– Как это нет? – возразил Димитр.

– А так. Ты сам ее выдумал.

– Есть! Она живет в Другом доме.

– В Другом доме никто не живет, – пояснил отец. – Раньше там жил я, мы с твоей матерью были соседями, оба одинокие, вот и решили жить вместе. Поженились, потом разобрали ограду между двумя дворами. Какая еще Рурка тебе почудилась?

– А такая! Она живет в Другом доме.

– Да нет там никакой Рурки! Там у нас конопля, шерсть да кадушки – мы держим их там, чтоб не рассыпались. И ковры. Твоя бабушка – мать твоей матери – сама их ткала.

Так говорил отец Димитра – Недьо, качая укоризненно головой. Сейчас он был в поле, а мать на птицеферме.

– Рурка! – снова позвал Димитр.

– Что? – крикнула Рурка изнутри Другого дома, но не показалась в окне.

– Ты там?

– Здесь я! Я же сказала тебе – у меня стирка!

– Выходи играть!

– Выйду, как кончу. А ты иди поищи ребеночка!

Димитр надулся и поглядел на большой палец правой ноги. Ты разбудил камень, сказал ему отец, делая перевязку. Камни обычно спят и ждут, когда какой-нибудь разиня их разбудит. Нет Рурки, как бы не так! Рурка-то есть, а вот попробуй найди здесь ребенка! Дома стоят пустые, во дворах пусто, только бабка Неделя сидит в тенечке на виду у всех. А у кого это у всех, когда никого нет? Где уж тут взяться ребенку? Димитр вспомнил, как плачет младенец Улаха, и вдруг его голос схватил Димитра за горло. Пусти, дурачок, хотел сказать Димитр, но горло его само издало плачущий звук. Словно мякнула кошка, а потом понеслось тоненькое

„а-а-а“, как будто он сам стал вдруг младенцем, а горло повторило „уа-уа-уа“! Перевязанный палец двинулся вперед, за ним вся босая нога. Куда это я, спросил себя Димитр, а младенец продолжал плакать у него в горле. Он попытался заткнуть ему рот, но не тут-то было! Да вот он, ребенок, сообразил Димитр. Как Рурка освободится, понесу его ей. Хотела ребенка – вот тебе ребенок! Он забыл о младенце Улаха, у них теперь свой ребенок, в любой момент он может зареветь. А замолчать?

Ребенок тут же замолчал.

Бабка Неделя думала о кладбище, вспоминала, кому из покойников что и как рассказала о живых, не упустила ль чего в своих рассказах. Все я им рассказала, заключила она, но когда живые вернутся с поля, что я им расскажу о покойниках? Сеиз спрашивал о Леснике и дед Стефан тоже, а Лесник о них не спрашивает: раз они в земле, все равно что их не существует. А Сеиз живой живых, лежит тихо со скрещенными руками, как я его положила после того, как обмыла и одела в дорогу. Спрашивал о севе, о земле, о доме. И все меня об этом спрашивали – и бабка Анна, и Велика, и бабка Ралка, и бабка Петра, и Дамяница – все хотят знать, что происходит в селе. Что нового, кто уехал в город, кто остался. Продал ли снова Илларион дом Спасу, который купил, когда вернулся из города, и я им сказала, что продал по старой цене. Устоит ли Лесник перед Ликомановым? Пока держится, сказала им я, вы же знаете – бóльшего упрянца в селе нет, мне это давно известно, я ведь и его принимала.

Вспомнив о повивальных делах, она забыла и о кладбище, и о Сеизе и об остальных. Ей показалось, что где-то заплакал ребенок. Сначала тихонько, как кошка мяукнула, затем громче – „уа-уа-уа“. Потом

плач затих, а спустя немного раздался снова – громкий и настойчивый.

Бабка Неделя встала, вышла из тенечка, где сидела по-кошачьи с поджатыми ногами, и пошла на голос младенца. Со времени рождения сына Зорки и Недьо, которого назвали в честь деда Димитра и которому пожелали жить сто один год, в селе не родился ни один ребенок, если не считать семьи Улаха, которая ежегодно отмечала прибавление, но Улах был чужак и переселенец. Кто же мог родить, чтоб я не знала? – удивлялась бабка Неделя.

Она остановилась перед воротами Дачо.

Все было на месте. Кошка Дачо сидела на ограде, скучая по хозяевам. Среди зарослей бузины и дикого перца виднелся овраг. Над ним покачивался висячий мост Дачо – одинокий и грустный: он соскучился по человеческой тяжести, а его перила – по человеческим рукам.

– Здравствуй! – сказала ему бабка Неделя. – Кто тут плачет?

Мост пожал плечами. Он тоже был живым существом с душой, распятой между двумя склонами оврага. Бабка Неделя часто с ним разговаривала, рассказывала ему о Сеизе и бабке Анне, напоминала о том времени, когда вода в овраге поднялась и снесла старый мост, а Дачо построил новый, или о том, как по нему проходили козы и только болевшая вертячкой коза Сашка перла напрямик через овраг. О людях и говорить было нечего: все по нему ходили от мала до велика. Покачает он их, порадует, а потом доставит на противоположный склон.

Ребенок опять заплакал. Бабка Неделя вся обратилась в слух. Димитра, сидевшего на ветке груши во дворе Оглобли, она не заметила.

Димитр все еще удивлялся, как это ребенок оказался у него в горле и он может им командовать – когда заплакать, а когда замолчать. Он снова приказал ему заплакать – и тот заплакал. В этот момент Димитр увидел бабушку Неделю, которая, идя на голос младенца, уже подходила к воротам Оглобли. Мальчик соскочил с груши и бросился через калитку в соседний огород. Палец его снова разбудил спавший камень в огороде Йордана-цирюльника. Охнув, Димитр схватился за ногу и сел на помидорную грядку. Он хотел было сунуть больной палец в рот, но не смог: это тебе не рука, которая близко ото рта, пососешь палец – он и пройдет.

– Оглобля! – услышал он голос бабушки Недели из-за высоких мальв.

Никто ей не ответил.

– Где тут плачет ребенок?

Димитр засмеялся, боль в пальце тотчас прошла. Где плачет ребенок, а? Здесь, бабушка Неделя, здесь, – тихонько прошептал он, и вдруг его озарило: если Рурка занята, почему бы ему не поиграть с бабушкой Неделей? Чтобы с кем-то поиграть, кажется, обязательно должен быть ребенок! Прихрамывая, Димитр прокрался вдоль дома Йордана-цирюльника и, спрятавшись за бочкой с дождевой водой, опять приказал ребенку заплакать. Прижавшись щекой к бочке, доски которой были испещрены черными дырочками, мальчик следил одним глазом за воротами. Пахло деревом и застоялой дождевой водой.

Приоткрыв калитку в воротах, бабушка Неделя заглянула во двор. На миг Димитр ослеп от зеленого сияния ее вечно молодых глаз, и ребенок тоже ослеп и замолчал.

– Никого нет, – сказала бабушка Неделя, – откуда в доме Йордана-цирюльника ребенок? Он давно уморил

и последнюю свою жену, но сейчас не будем об этом говорить.

Она немного постояла, размышляя. Сердце Димитра бешено стучало: он боялся, что она направится к дому, но она повернулась и захлопнула калитку.

Димитр засмеялся от удовольствия. Я вам покажу – нет, Рурки в Другом доме, нет и ребенка, а? Как бы не так! Он приложил палец ко рту ребенка, чтоб молчал, немножко его покачал. Перепрыгивая низенький плетень из прутьев, обмазанных коровьим навозом, он высоко поднял ребеночка, чтобы его не задела торчащие прутья.

Некому у нас родить, сказала себе бабка Неделя, остановившись в тени электрического столба у ворот Йордана-цирюльника. Наверное, это эхо того времени, когда дети рождались, а я их принимала – ведь я всех в этом селе принимала, кроме деда Димитра, который родился на несколько лет раньше меня! Селу хочется, чтоб появлялись на белый свет младенцы, потому и возвращается эхо, и плач ребенка возвращается, и женщины тоже... Средь бела дня появились женщины – в длинных белых рубахах, с распущенными волосами, босиком, с большими животами – вот-вот собираются рожать! Остановились в тени у ворот Йордана-цирюльника, и бабка Неделя почувствовала их дыхание – оно отдавало молоком. Она сделала им знак молчать, и они стояли молча, а волосы их блестели в тени. – Я обещала повести вас в поле, – тихонько сказала им бабка Неделя, – чтоб вы там цветов набрали, венки сплели, пустили их в реку на счастье – и земля чтоб родила, и вы чтоб благополучно разрешились от бремени, умножили свои семейства. – Тогда пошли! – кротко промолвила одна из женщин – это была мать Лесника. – Пойдемте! – согласилась бабка Неделя, – но сначала

подождем, пока стемнеет, потому как сейчас, днем, и люди повсюду, и скотина: увидят нас и все дело испортят. Женщины заплакали, слезы их закапали на пыльную дорогу, на камни, на прошлогоднюю мякину. – Почему вы плачете, – тихо прошептала им она, – зачем торопитесь, придет черед каждой, у каждой я приму ребеночка, перережу пуповину, брошу ее туда, куда господь велит, а он потом придет и ее к себе заберет: длина человеческой жизни – вот она, всего-навсего с пуповиной.

Женщины перестали плакать, но теперь заплакала бабка Неделя. Димитр увидел ее слезы через щель в плетне, услышал тихие всхлипы и удивился, почему она плачет – одна, среди бела дня, стоя в тени возле ворот Йордана-цирюльника. Ему не виден был ее палец на правой ноге – может, она тоже разбудила какой-нибудь спящий камень? Ничего, бабушка Неделя, успокойся про себя, не плачь, сейчас все пройдет. Давай снова поиграем, вот он – ребеночек, а когда Рурка закончит стирку, я буду играть с ней, а ты будешь сидеть там, на сундуке.

– Тебя я тоже принимала, – сказала она ему однажды.

– Как принимала? – не понял мальчик.

– Да так – когда ты родился, я отрезала тебе пуповину, потом запеленала тебя и показала людям. Все село собралось во дворе.

Димитр тогда подумал, что каждый человек, перед тем как родиться, висит на веревке-пуповине под небом. Приходит бабушка Неделя, перерезает веревку, и человек падает в село – он родился. Потом его пеленают. Как только вспомнил Димитр о пеленках, ребенок у него в горле снова подал голос.

Он громко и нетерпеливо заплакал, Димитру еле

удалось заткнуть ему рот. Бабка Неделя подняла голову, слезы у нее мгновенно высохли, глаза вновь засветились зеленым сиянием. Она направилась к плетню, но Димитр уже помчался прочь через огород. Выскочив на узкую улочку, кинулся к Барагану. Время от времени он останавливался, прячась за углами домов и заборов, и тогда ребенок снова плакал, а бабка Неделя снова шла на его голос. Димитр видел, как она, тяжело дыша, взбирается по крутым тропинкам и, шатаясь, спускается вниз, как один раз она поскользнулась и упала в колючки, но потом, поднявшись, снова пошла на голос младенца. Забыв о больном пальце и Рурке, Димитр, увлекшись игрой, провел бабушку Неделю через весь Бараган. Затем перешел через овраг и долго водил ее по огородам, после чего пересек шоссе и оказался в местности Парцаля. Он был неутомим – и он, и ребенок.

Когда на обратном пути Димитр добрался до висячего моста Дачо, он спрятался в зарослях бузины и дикого перца, чтобы посмотреть, как бабка Неделя пойдет по мосту. Вскоре она показалась наверху. Еле передвигая ногами от усталости, она медленно плелась, опираясь на подобранную где-то палку. Платок сполз ей на лоб, сияние глаз угасло.

Бабка Неделя ступила на висячий мост и, сделав несколько шагов, остановилась. Мост только этого и ждал. Весело скрипнув, он запел свою песню и начал ее качать. Перила и доски завели свою мелодию. Димитр издал горлом младенческий плач, но мост заглушил его своей песней. Запел и овраг, бузина и дикий перец тоже подали голос, загудела басовито церковь, выводя мелодию с высоты – с золотого креста, где аисты каждый год вили гнездо. Песню подхватили дома, ограды, ворота – каждый своим голосом – густым или



тонким, хриплым или мягким, зловещим или нежным, и у песни этой не было ни определенной мелодии, ни определенных слов, потому что не было у нее ни начала, ни конца. Мальчик тоже попытался было запеть, но голос его не слушался, и ребеночек исчез.

Понял Димитр, что игра окончена. Вышел он из зарослей бузины и дикого перца, которые еще драли глотку, спустился под мост и перешел на другую сторону оврага. Вверху над ним бабка Неделя пела о плодоносности, о рождении и смерти, о земле и семени, о вечном круговороте жизни, но Димитр не понимал ни слов, ни мелодии этой незнакомой песни.

Вернувшись в пустой дом, он сел на ступеньку лестницы. Напротив стоял Другой дом, где держали коноплю, ковры, бочонки да кадушки, которые ставили туда, чтобы они не рассохлись. Димитр не стал звать Рурку, чтоб спросить, закончила ли она стирку, и она не появилась в окне Другого дома. Вечером, когда отец и мать вернулись с работы, он впервые заметил, какие они старые и усталые.

– Ну как, играл сегодня? – спросил отец.

– Нет, – вяло ответил Димитр.

– А в Другой дом ходил?

– Нет.

– А как же Рурка?

– Какая Рурка? – рассеянно отозвался Димитр.

– Как какая? – вмешалась мать. – Твоя.

– Нет никакой Рурки, – сказал мальчик.

Родители переглянулись, а Димитр молча уставился на перевязанный палец правой ноги.

## ЛОЗУНГИ

Вырвав из блокнота лист, Лесник произнес:

– Вот тебе тексты, учитель! Я написал десять текстов, сделаешь десять лозунгов. Вот тебе бумага, вот краска, вот кисточка!

Учитель Димов умел красиво писать. Умел вправлять вывихи, был заядлым рыболовом и пчеловодом. У него был хороший голос, и он пел ученикам, аккомпанируя себе на скрипке. Кому не был знаком его темно-синий двубортный костюм в полоску, отутюженный, выглядевший всегда новым? После того как школу закрыли и она стала складом шелковичных коконов и зернохранилищем, учитель избегал заходить в нее. Но однажды зимой он вошел, вытащил из печной трубы, куда он его спрятал, школьный звонок и принялся звонить, пока не собрал всех стариков. Ты чего звонишь, учитель, спрашивали люди, может, школу снова откроют? Учитель молчал, замолчали и те, кто спрашивал, – они очень хорошо знали, что в селе нет детей, нет учеников, что нет смысла открывать здесь школу. Ну, хорошо, сказал тогда один из собравшихся, учитель звонил, но мы-то что здесь торчим, разве у нас нет своих дел? И все разошлись. Лесник наругал тогда учителя, хотел отобрать у него звонок. Не отдам, сказал учитель, и пошел домой, а когда снова вышел на улицу, глаза у него были красные.

Все это пронеслось в мозгу Лесника, пока он стоял посреди зальчика клуба БКП, который в последнее

время был и почтой, и сельсоветом. Телефон молчал, громко жужжала прошлогодняя муха, пахло отвратительно мастикой, которой был натерт пол. На стойке лежали телеграфные бланки, стояла чернильница.

Образ учителя встал перед его взором вместе с заброшенной школой, вернув с собой минувшие годы, переселившихся в Рисен людей, покойников, которые уже не могли собраться и спросить, почему звонит звонок. Лесник сел на желтый скрипучий стул. Всю ночь он в тысячный раз перечитывал „Государство и революция“, знал, что все там сказано правильно, но вот об этом там ничего нет. И как получается, что ты возвращаешь к жизни умершего от рака горла учителя Димова, даешь ему лист и просишь написать десять лозунгов? Лесник стал читать лозунги, написанные им на листке из блокнота чернилами для телеграмм:

„Кому ты оставляешь землю?“

„Куда девалось твое кооперативное сознание?“

„Если каждый убежит, родные дома опустеют. Остаься!“

„Доведем до конца начатое, трудности нас не страшат!“

„Вернитесь! Еще не поздно!“

И так далее, до последнего лозунга:

„Почему?“

Когда он дошел до него, глаза его увлажнились. Почему? Почему? Почему?

Он кооперировал землю в этом селе, выворачивал наизнанку человеческие души. Привезли первый трактор, духовой оркестр играет „Интернационал“, трактор пашет, оставляя позади себя облака синего дыма. Люди идут за ним по распаханым межам – одни подпевают, другие тихо ругаются, третьи плачут. Стоя возле тракториста, Лесник смотрит на горизонт, в сияющую

даль коммунизма, а над головой его трепещет красный флаг. А потом Лесник стоит перед навесом Велико – цокает языком, удивляется: ведь Велико первым записался в кооператив, и сколько там у него было земли – какие-нибудь двести соток. Не потребовалось никакой агитации – он просто взял карандаш, послушав его и подписался. Лесник обнял его, а Велико вернулся домой, помылся, переоделся, взял веревку, которой вяжут снопы, перекинул ее через балку навеса и повесился. Почерневший, с высунутым языком, висел Велико в петле, его босые ноги покачивались, не доставая земли.

Скажи мне, Лесник, что такое человек, спрашивал когда-то дед Стефан, который никак не мог побороть в себе сожаление о своих тридцати сотках бахчи возле моста. – Великое нечто – человек, дедушка Стефан, сказал ему тогда Лесник. Человек – это звучит гордо! – Гордо, спросил дед Стефан, а что в нем гордого?.. А когда Лесник возвращался домой, его жена Мария встречала его молча, потупив взор. Она была тихой по характеру. Молчала Мария, но Лесник знал, о чем она думает: ну зачем ты восстанавливаешь против себя людей, как пойду за водой, женщины не смеют словом сомной перемолвиться. Тогда он брал „Государство и революция“, раскрывал перед ней страницы и, махая руками, объяснял, посреди ночи открывал перед ней прекрасные горизонты, которые он увидел и в которые навсегда поверил. Ради них, этих горизонтов, он терпел нечеловеческую боль, когда ему вырывали ногти, забивали в пальцы сапожные гвозди. Ради них он ушел партизанить в горы, давал клятву и сдержал клятву!

Почему?

Тяжело встав со стула, Лесник развернул рулон бумаги и взял в руку кисточку. Обмакнув в красную

краску, начал выводить ею буквы, следя за тем, чтобы строчка внизу была ровной. Выводит он букву за буквой, а перед ним вдруг встает Спас в накинутом на плечи зеленом пальто с железной своей улыбкой на губах. Протягивает Спас ему тетрадь – возьми, говорит, Лесник, и спрашивай меня названия столиц, я все знаю. Хотел было Лесник бросить тетрадь на землю, но передумал, раскрыл ее и сказал:

– Хорошо, сейчас проверим. Столица Испании?

– Мадрид.

– Столица Австралии?

– Канберра.

– Правильно. Столица Эквадора?

– Кито.

– Венецуэлы?

– Каракас.

– Чили?

– Сантьяго.

– Ты смотри, чертяка! Столица Финляндии?

– Хельсинки.

Лесник швырнул тетрадку на плетеный стул из венского гарнитура, который Спас дважды купил у Иллариона вместе с домом.

– Мы ломаем головы, как решить текущие вопросы, – воскликнул он, – а он, видите ли, географию учит!

– А почему бы мне не учить? – спросил Спас. – Время у меня свободное есть. Сейчас, Лесник, все кинулись учиться.

– А зачем тебе знать все столицы?

– На всякий случай, может, и понадобится. Ведь гвоздь видишь на земле – подымаешь. Ежели кривой, выпрямишь молотком – может, пригодится. А тут тебе не какие-нибудь гвозди – столицы!

Говорил, чертяка, так, словно эти столицы на земле

валяются и только и ждут, чтобы кто-нибудь их подобрал, выпрямил молотком и оставил у себя на всякий случай – авось пригодятся! Уф! – выдохнул Лесник. Этот Спас преследовал его и во сне, и наяву. Всю жизнь с ним спорил, всячески его агитировал – и добром, и злом: дважды отправлял его в лагеря, чтобы за ум, наконец, взялся.

Лесник не раз видел во сне, что убивает Спаса – ножом в грудь, а потом просыпался, весь дрожа, в холодном поту, чтобы утром снова увидеть его ухмыляющуюся физиономию и прямую фигуру, восседающую на намозолившем глаза ишаке с большой головой.

Лесник махнул рукой: Спасу лозунги не нужны, он никуда не убежит, но зачем он мне? – Задав себе этот горестный вопрос, он чуть было не искривил букву, но тут же поправил. Темнело, и он зажег свет. Спас тут же исчез, и Лесник ощутил одиночество. Оно явилось внезапно, как смерть, и моментально обернулось смертью – безликой, безглазой, но вездесущей – вот она здесь: в мастике, которой натерт пол, в чернильнице и телеграфных бланках, в электрической лампочке, в жужжании прошлогодней мухи. Вот она – держит телефонную трубку, вот она – облокотилась о стойку с бланками, вот она – сидит за столом, где они проводят партийные собрания. Он встречал ее в обезлюдивших домах, заросших дворах, заброшенных кукурузных полях, и тогда она пахла ветром и дымом, пробудившейся от зимнего сна землей, кладбищенскими цветами. Она заглядывала ему в глаза, когда он бродил среди брошенного сельскохозяйственного инвентаря, возле умолкшей пилорамы Дачо, стоял посреди висячего моста, возле тумбы для афиш, где висела одна-единственная афиша – о спектакле по пьесе Штейна „Океан“. По ночам, когда он лихорадочно перелистывал страницы

„Государства и революции“, он слышал ее шаги по плиточной дорожке, улавливал ее присутствие по звяканью какой-нибудь посуды или шороху опавших листьев. Она приходила вместе с осенним тлением и горьким запахом влажных дров в печи, она искала его в зеркале, воплощаясь в него самого, когда он брился или надевал на голову старую кожаную фуражку, когда его внезапно охватывала тоска по умершей жене Марии и вспоминалась белая полоска зубов в ее приоткрытых навсегда губах. Нет, я тебе не дамся! – прошипел Лесник, продолжая ожесточенно выводить буквы, упрямо наклонив голову на крепкой, покрытой коричневым загаром шее, словно держал в руках рукоятки плуга и пахал. Я тебе не дамся, пока не верну жизнь в это село, пока мы не построим здесь социализм. Да, Ликоманов, другое дело, брат, хозяйствовать на равнине, на плодородных землях. Разовьешь промышленность, осуществишь интеграцию, трудодень будет высоко оплачиваться, люди будут стекаться отовсюду. Техникумы, школы, высокий уровень механизации, дождевальные установки, химия, сельскохозяйственная авиация, не так ли? Нет, братец, ты давай-ка приезжай сюда строить социализм – на эту каменистую землю, изрезанную оврагами, на эти холмы, где люди испокон веку голодали, где всякий дом построен лишь благодаря тому, что его хозяин был на чужбине на заработках. Поголодает он там, посидит на одном хлебе да луке, помучается, но через несколько лет вернется со сбережениями – вот тебе и дом, все эти дома, которые сейчас бросают. А женщины, старики и дети были обречены на вечное служение этой скупой земле, которая хочет так много, а дает так мало.

Глаза его вновь увлажнились, но вместо образов одиночества и смерти в них отразилась его фанатичес-

кая вера, которая вылилась в красные буквы лозунгов. Лесник закончил последний, самый короткий лозунг большим вопросительным знаком:

„Почему?“

Писание лозунгов вдруг вернуло его в те далекие времена, когда он был молод и вместе с двумя гимназистами выводил буквы запрещенного призыва на фабричной ограде. Кисть жгла ему руки, краска выплескивалась из консервной банки и капала на землю, как кровь, а где-то в глубине темной улицы уже раздавались полицейские свистки и топот подкованных сапог. Но ему не было страшно. Он закончил призыв большим восклицательным знаком:

„Союз с СССР!“

Лесник остановился перед оградой Гунчева. Окна дома были темными, какая-то птица вспорхнула с ветки груши. Лесник развернул лозунг и намазал один его край толстым слоем клея. Прижав его к ограде, вытянул лозунг во всю длину. Он ярко забелел в темноте, буквы быстро побежали от одного края к другому, как поднятые по тревоге солдаты.

„Кому ты оставляешь землю?“

Там, в нижней комнате, спит Гунчев, у которого добрые женские глаза. Пусть, открывшись поутру, они прочтут этот лозунг. Помимо всего прочего, Гунчев – член партии, всегда был ударником, пусть подумает сейчас над лозунгом, хотя Йордан-цирюльник подбивает его уехать в Рисен, а их с Йорданом водой не разольешь. Йордан-то, безобразник, только о бабах думает. – Нет здесь женщин, Лесник, не раз говорил он ему, кровь во мне еще кипит, работать, ты знаешь, я умею, но какая это жизнь – одни помирают, другие убегают, а женщин нету! – Я тебе покажу, бесстыдник, столько жен уморил и все тебе мало! – пригрозил Лес-



ник, останавливаясь у его ворот. Он приклеил к почерневшим доскам лозунг:

„Куда девалось твое кооперативное сознание?“

Охваченный чувством надежды, Лесник расклеивал лозунги по оградам и воротам. В темноте тихо журчал ручеек на дне оврага, скрипела где-то плохо прибитая доска. Село спало, ему был нужен сон, рассвет и кто-то, кто встретит этот рассвет. Лесник настолько увлекся расклейкой лозунгов, что не замечал, что по пятам за ним следует чья-то тень, переходя от одного приклеенного лозунга к другому. Лицо этого человека выражало ярость. Останавливаясь перед очередным лозунгом, он сперва его прочитывал, потом протягивал руку и со злостью срывал.

Лесник уже дошел до дома Оглобли, заглянул во двор – есть ли свет в окнах. Света не было. Спит, сказал про себя Лесник и вздохнул. Во всем селе не было человека более упрямого, замкнутого и непонятного, чем Оглобля. Работал он добросовестно, шел куда пошлют, но Лесник знал: если загорится кооперативная солома или будут отравлены семена, это дело рук Оглобли и никого другого. Все те двадцать лет, что миновали после кооперирования, Оглобля оставался все тем же, даже лицо его не изменилось. В глубине его взгляда Лесник угадывал убийства, кровь, саботажи, пожары, насаженные на кол головы, жестокость, месть, а Оглобля молча правил подводой, жал и молотил хлеб, носил мешки, окучивал кукурузу и собирал хлопок.

Лесник знал, что Оглобля в конце концов тоже убежит из села. У него оставался один-единственный, последний лозунг, и он приклеил его на ворота Оглобли. Отступив на шаг, снова прочел:

„Почему?“

Обернувшись, Лесник только тогда увидел, что кто-то срывает лозунги и рвет их в клочья. В ту же секунду он узнал Оглоблю. Взревев, Лесник отбросил в сторону банку с клеем и устремился к нему.

– Лозунги рвешь, гад, а?

Схватил его за горло. Село вдруг перевернулось, ноги Лесника повисли в воздухе, земля с силой ударила в плечо. Он почувствовал у себя на шее жилистые руки, ощутил возле самого уха прерывистое дыхание. В ноздри ударил чужой запах – запах чеснока, мужского пота и конской сбруи, запах долго тлевшей и вспыхнувшей наконец ненависти. Они уже катались, вцепившись друг в друга, по земле – в пыли и клочьях бумаги. То один, то другой оказывался сверху, они уже отпустили друг другу горло и теперь, хрипя и рыча, дубасили один другого. Раздавались бранные слова и проклятия – это вырывались наружу двадцать прошедших лет, слышались названия местностей и имена давно умерших или уехавших людей, но чаще всего дравшиеся поминали своих матерей.

Лесник почувствовал, как его кулак ушел под ребра Оглобли и в тот же миг ослеп. Из рассеченной брови хлынула кровь, охнув, он упал навзничь. Тяжелое тело Оглобли прижало его к земле. Мелькнула мысль – что это, конец? – а мозг лихорадочно искал в кровавом тумане слово и наконец нашел: Почему? Почему? Почему? Он уже проваливался куда-то, безразличный ко всему, как вдруг почувствовал, что тело Оглобли переместилось в сторону, а над головой снова открылось небо с яркими звездами. Глубоко вдохнув свежий ночной воздух, он собрал все силы и поднялся на ноги.

Оглобля тоже встал, но тут же упал, потом, с трудом приподнявшись, сел – так сидят дети в ожидании чего-то или кого-то. Здоровым глазом Лесник увидел

лицо Оглобли – окровавленное и обезображенное, услышал его тяжелое дыхание и понял, что оба они живы. Злость его испарилась. Вытерев ладонью кровь, он глухо произнес:

– Почему?

– Не знаю, – прошептал Оглобля.

Оба замолчали. Они были ровесниками, у них была одинаковая молодость, но затем каждый пошел своим путем. Они шли-шли и наконец дошли до этой ночи.

– Лесник! – позвал Оглобля.

– Что?

– Помнишь, когда ты отстреливал собак?

– Помню.

– Я тогда еще попросил у тебя пистолет для моего Алишко, помнишь?

– Помню.

– Знаешь... знаешь, для чего я его попросил?

– Знаю.

– Зачем ты мне его дал, Лесник? – простонал Оглобля. – Разве тебе не было страшно?

– Было.

– И несмотря на это, ты мне его дал... а я вместо Алишко ведь тебя хотел убить!

Лесник стоял, шатаясь, одной рукой прижимая окровавленный глаз.

– Почему ты меня не убил? – крикнул он.

Оглобля поднялся – весь в крови, рубашка разорвана, на одной ноге нет ботинка. Качаясь, стал нащупывать ногой ботинок в пыли. Леснику вспомнилось, как однажды ночью, когда он пил в одиночестве в погребе, закрыв оконца мешками и прижав мешки для надежности кусками домашнего мыла, приехал на подводе Оглобля и сел с ним рядом. Тогда они вели такой же разговор и всегда будут его вести, и всегда это будет

как впервой, потому что и Лесник не мог объяснить, почему дал ему пистолет, и Оглобля не мог ответить на вопрос – почему он его не убил. Лесник стоял, весь в пыли и крови, Оглобля ощупью искал ботинок, и тогда Лесник спросил себя: а что я здесь делаю? – и стыд ожег пламенем его щеки. Если бы была жива Мария, он бросился бы сейчас домой, рассказал бы ей все, и она бы его поняла. Но Марии нет в живых, дом пуст, лишь его шаги отдаются в этой пустоте. Как удержать здесь людей? Ему хотелось кричать в голос, но вместо этого он тихо позвал:

– Оглобля!

Оглобля подошел и уставился на него, словно видел впервые. Знаю ли я его, спросил себя Лесник, всю жизнь мы жили рядом, вставали и ложились в одно время, молчали и ругались, а вот сейчас могли убить друг друга. Но разве можно влезть в чужую душу и поглядеть, что в ней, как говаривал Спас? Лесник ждал, что Оглобля, как и он, обожженный стыдом и болью, что-то сейчас скажет, и он услышал его голос, но это не были слова, не был и стон.

Это был смех. Оглобля смеялся. Раскаты дикого хохота гремели на пустынной улице, в пустых домах рядом. Потом скрипнула калитка, Оглобля вошел во двор, и смех затих.

На воротах остался висеть единственный уцелевший лозунг:

„Почему?“

## МЕНЬШИНСТВО

Они шли прямо по незасеянному полю. Солнце освещало Бугор, и казалось, что виноградники охвачены огнем. Когда остановились у моста, чтобы пересчитать детей и вещи – все ли с ними, Улах обнаружил, что забыли белый пластмассовый бидон. Во дворе дома бабки Мины они поставили его впереди всех вещей – желтого чемодана, приобретенного когда-то на толкучке, четырех узлов, сложенного родового шатра с четырьмя кольями, лоснящимися от множества рук, шести свернутых одеял, старого рваного зонта и нескольких торб. Все было налицо, не хватало лишь бидона: он остался во дворе бабки Мины. Они жили в одной из комнат на верхнем этаже под непрекращающийся скрип дверных петель. Пахло пылью и пауками из нежилых помещений, но зачем им было жить в остальных четырех комнатах? Нужно быть всем вместе, говорил Улах, пять комнат нам ни к чему, нам хватает и одной. А если вообще нет комнаты, неба хватит на всех. Поставим родовой шатер, колья у него еще крепкие, зонт тоже у нас есть.

Сейчас все это было уже в прошлом. Улаху стало жалко бидона, но, подумав, он решил, что в Рисене Ликоманов даст им другой. Они шли напрямик через поле, Улах прижимал к себе кларнет, завернутый в мешок, в глазах его горел восход, на Бугре пламенели виноградники, а в жилах его играла кровь предков, жаждущая дальних дорог и перемен.

– Значит, Улах, убегаешь, а? – сказал во дворе дома бабки Мины Лесник, остановившись перед его семейством и вещами. Белый бидон тоже был там.

– Я не убегаю, дядя Лесник, – пробормотал Улах.

– Не убегаешь? А дом мы тебе дали?

Улах виновато кивнул.

– Надбавки получал?

Снова кивок. И все семейство Улаха закивало головами, хотя не все поняли, о чем речь. Самый младший сосал грудь матери, а в ее выпиравшем животе уже угадывался следующий отпрыск. Лесник оглядел всех по очереди: когда Улах появился в селе и ему дали дом бабки Мины, ребятишек было семеро, а сейчас – четырнадцать. У Манчо уже пушок над верхней губой, а фуражка лихо заломлена – значит, скоро будут женить. Сулейка – юная красотка с осиной талией – нарядилась в белую прозрачную блузку, сверху суконная телогрейка на меху, на голове платок с лиловыми и зелеными цветами – аж в глазах рябит. Остальные одеты кто во что горазд: на ногах – туфли, галоши, старые башмаки, у одного даже лакированные сандалии с ремешками; на голове – вязаная лыжная шапочка, солдатское кепи, сержантская фуражка без козырька, но с ремешком под подбородком. Один из малышей – кудрявый красивый мальчуган в розовых рейтузах и рекламной кепчонке с надписью „Спортлото“ – посасывая палец, уставился прямо в глаза Лесника, поймав его горящий, обвиняющий взгляд.

– Это все он, – оправдывался Улах, вынимая из мешка кларнет. – Не хочет, и все тут!

– Кто не хочет? – взвился Лесник. – Чего не хочет?

– Да кларнет, дядя Лесник! – Вытащив инструмент из мешка, Улах собрал его и поднес мундштук к губам. Кларнет кашлянул, потом чихнул, словно человек.

– Почему не хочет? – спросил Лесник. – Раньше ведь играл?

– Да, но больше не хочет, потерял голос, – стал объяснять Улах. – Свадеб нет, крещений нет. Людей нет, дядя Лесник, для кого ему играть?

Улах горестно покачал головой, и все семейство закачало головами. Понял Лесник, что не сможет их удержать. Вышли они из ворот дома бабки Мины партизанской цепочкой, таща с собой родовой шатер, колья, одеяла и узлы, чемодан и зонт; ушли с его глаз долой, не оправдав надежд, выбыли из списка, который он приколот кнопкой над своей кроватью и из которого часто вычеркивал чье-либо имя. Теперь ему придется вычеркнуть сразу четырнадцать плюс два – шестнадцать имен.

Они шли напрямик через поле. Сойки проносились стрелой над самой землей, солнце стремилось зажечь и их крылья своим огнем. Земля горела у них под ногами, они смотрели вперед и уже видели станцию – маленькую желтую постройку, пристройку к ней и рельсы железной дороги. За все это время Улах ни разу не обернулся, словно село уже сгорело за его спиной и сейчас ветер развеивал пепел, чтобы от него не осталось и следа. Сгорели и проведенные в нем годы, и люди, которых он знал в эти годы, и дом бабки Мины. Только Лесник, изваянный из камня и железа, еще догорал перед глазами Улаха. Улах хорошо знал, что, если обернется, заревет в голос, поэтому, еще крепче прижав к боку кларнет, завернутый в мешок, ускорил шаг.

Когда они вступили в тень акаций, пожар на Бугре угас и виноградники снова зазеленели. Показалось вдали и село, притулившееся у подножья гор, – целехонькое, словно не горело минуту назад. Улах принялся пересчитывать детей и вещи. На этот раз вышло на од-

ну штуку больше. Он озадаченно почесал в голове: не иначе козни дьявола! Ведь когда он считал их у моста, было на одну меньше – они же забыли белый пластмассовый бидон. Он снова посчитал, загибая пальцы, – получилось точно. Это шайтан меня путает, подумал Улах, не буду больше считать, сколько нас есть – столько и поедем.

Наконец они вышли на перрон, покрытый коричневым шлаком. Перед желтой станционной постройкой стояла подвода без лошади. Улах поискал глазами лошадь, но ее не было, позади станции виднелись свинарник, курятник и два рола почерневшей проволоки. Одинокая железнодорожная линия убегала вдаль к вербам, а еще дальше в мареве скрывалось Златаново.

Из станционного домика появился ЖэДэ с женой Мицкой – они несли пружинный матрас от двуспальной кровати. Взгромоздив его на подводу, они снова направились к домику. Улах крикнул:

– Эй, ЖэДэ, здравствуй!

ЖэДэ обернулся, снял форменную фуражку и вытер голову большим носовым платком в зеленую и черную клетку. Потом снова надел фуражку, но не ответил на приветствие. Вошел вместе с Мицкой в домик, будто ни Улаха; ни его семейства с вещами вообще не было на перроне.

Спустя немного оба появились снова – на этот раз они тащили спинки кровати.

– ЖэДэ, здравствуй! – опять обратился к нему Улах.

– Не отрывай меня от дела! – бросил через плечо ЖэДэ. – Чего тебе надо?

– Билеты, ЖэДэ, – ответил Улах, указав на детей и вещи. – Четыре полных, остальные половинки и со скидкой.



ЖэДэ обменялся с женой быстрым взглядом, она пожала плечами и засмеялась, смех ее напоминал лошадиное ржание. Это была страшная с виду женщина, с усами, никто никогда не слышал, чтобы она разговаривала. ЖэДэ рассказывал направо и налево, что она его обожает, но в ее темных глазках-щелочках горела дикая ненависть. Улах вздрогнул, а Мицка снова засмеялась и вошла в домик. ЖэДэ последовал за ней мелкими шажками, под рубашкой навывпуск живот его подрагивал. Когда они вынесли и погрузили на подводу скатанные матрасы, Улах снова подал голос:

– ЖэДэ, дай билеты, поезд сейчас придет!

– Какой поезд? – спросил удивленно ЖэДэ, словно плохо расслышав.

– Да этот, 205, который проходит здесь каждый день в это время.

– Ах, вот как! – воскликнул ЖэДэ, вновь обменявшись с женой взглядом; она коротко хихикнула. – Значит, говоришь, здесь каждый день в это время проходит 205-й?

– Ну да.

– И ты хочешь на него билеты?

– Да.

– И хочешь уехать с первого пути?

– Хочу, – улыбнулся Улах. – Мы все хотим. Уезжаем в Рисен.

ЖэДэ снова вытер голову носовым платком и надел фуражку. Не говоря больше ни слова, заторопился вслед за Мицкой в домик. Немного погодя оба вышли с другим пружинным матрасом, на этот раз от односпальной кровати. Все семейство Улаха выстроилось в круг около подводы. Малыш в розовых рейтузах и кепке „Спортлото“ чихнул. Младенец заплакал, и жена Улаха сунула ему грудь.

– ЖэДэ, – умоляюще сказал Улах. – Дай билеты, не тяни время! Упустим поезд!

– Какой поезд? – поинтересовался ЖэДэ.

– Да 205. Его что, отменили?

– Отменили, говоришь? Мицка, слышишь, что он тут болтает, а?

Она ответила коротким смешком; на ее темном уса- том лице не дрогнул ни мускул. В этот миг откуда-то издалека, из марева за вербами, где скрывалось Златано- во, донесся паровозный гудок. Все повернули голо- вы в ту сторону, только ЖэДэ с женой словно бы ниче- го не услышали и опять вернулись в домик.

Улах подбежал к железнодорожной линии, кото- рую ЖэДэ упорно называл первым путем в надежде, что скоро проложат второй, вгляделся в даль, потом, присев на корточки, приложил ухо к рельсам. Рельсы дрожали и звенели. Улах бросился к домику и начал бе- шено стучать в закрашенное серой краской стекло око- шечка кассы.

– ЖэДэ, ЖэДэ! Поезд идет, дай билеты!

Но окошечко не открывалось. ЖэДэ вышел из до- мика с тюком на спине и цинковым ведром в руке. Мед- ленно, очень медленно положил тюк на подводу, по- ставил ведро на землю и сел на передок. Улах с моль- бой кинулся к нему, жена Улаха тихо произнесла не- сколько проклятий – что-то насчет дурного глаза, кто- то чтоб иссох, но ничто не помогало: ЖэДэ не двинулся с места. А поезд приближался, вот из-за поворота пока- зался паровоз. Он все рос и рос, рельсы уже гудели вов- сью. В полной растерянности Улах, словно насадка, со- зывал к себе свое семейство. Уже не было времени пересчитывать детей и вещи – ничего, они сядут без би- летов, а потом он попросит кондуктора, чтобы тот его не оштрафовал. В этот момент паровоз поравнялся со

станцией, но вместо того, чтобы замедлить ход и остановиться, он снова загудел и с грохотом промчался мимо, вагоны быстро пронеслись перед глазами Улаха. Улах со всем своим семейством бросился за ними, волоча по земле багаж. Они бежали, бежали, пока поезд не повернул и не исчез из виду, словно вообще здесь не проезжал. Тогда они остановились и, запыхавшиеся, потные, повернули обратно. Вернулись на перрон и встали кружком возле подводы. Переведя дух, Улах спросил с побелевшими глазами:

– Почему он не остановился, ЖэДэ?

ЖэДэ переглянулся с женой, но на этот раз она не засмеялась.

– Почему не остановился, спрашиваешь? – вяло проговорил он. – А потому, что уже не будет здесь останавливаться.

– Но здесь же станция?

– Была, да сплыла.

– А что тогда здесь? – заморгал глазами Улах.

– А ничего. Не видишь разве, что мы выселяемся?

– Как выселяетесь? – Улах вытаращил глаза.

– Станцию закрыли, – процедил сквозь зубы ЖэДэ.

– Вот уже несколько месяцев здесь никто не ходил с поезда и не садился на поезд. Вот они и говорят: раз никто не ходит и не садится, зачем вам станция? Теперь поезд будет оставливаться только в Златаново. – Не сдержавшись, ЖэДэ бросил в сердцах форменную фуражку о землю. – А ведь обещали проложить второй путь и повысить мне зарплату!

Улах опустил на краешек подводы и замигал, пытаясь осмыслить услышанное. Семейство его тоже замигало, хотя и не поняло, о чем речь. Дети уселись прямо на землю, и перрон вдруг стал похож на деревенский двор. Младшие присосались к кувшинам и зеленым бу-

тылкам, в которые была налита вода на дорогу. Манчо закурил и, улыбаясь, стал пускать колечки дыма, а Сулейка вытащила засаленную колоду карт и принялась гадать. Подняв голову, ЖэДэ оглядел „меньшинство“ и удивился, как сразу ожила закрытая отныне станция, как все уже забыли о 205-м, словно никогда его и не ждали, не бежали за ним до переезда и поворота. Задержал взгляд на младенце, уснувшем у груди матери, прижавшись к ней щекой, потом перевел его на лицо женщины – чинное, спокойное, с искусственной родинкой на щеке, увидел улыбку, открывшую два ряда блестящих металлических зубов, и сердце кольнула застарелая, но сейчас особенно острая боль – тоска по ребенку, по детям. Одновременно в сердце вспыхнула и надежда: ведь каждый год он посылал свою жену на воды, водил к разным врачам в разные больницы, и, хотя пока все было напрасно, надежда в нем жила. Он утешался пчеловодством, работой – и на станции, и в поле, но годы шли, а детей все не было. Жена любила его все больше и больше (злые языки говорили, что она все больше и больше его ненавидела), ревновала ко всем и ко всему, а по ночам не оставляла его в покое – давай, попробуем еще раз! И они пробовали, пробовали. Он возненавидел ее костлявое смуглое тело, выросшие в последние годы усы, кислый запах ее плоти, горько-соленые, как желчь, поцелуи.

ЖэДэ задрал голову: голубое небо и порхающие в нем птицы показались ему нелепыми и виноватыми в его беде, нелепой и виноватой была и эта бесплодная станция, и этот поезд № 205, который больше не будет на ней останавливаться, и это умирающее село среди холмов напротив. И Улах показался ему нелепым и виноватым – со счастьем и полнотой своей жизни, с сигаретой Манчо и картами Сулейки, всегда предска-зы-

вающими удачу, с полной грудью его жены и полуголым мальчуганом в розовых рейтузах, который сейчас отплясывал кючек, а остальные ритмично хлопали и гикали.

Мицка внимательно наблюдала за ним, стоя подбоченясь возле свинарника – черная, костлявая, полная дикой ненависти. Глядя на подводу, видела она всю свою жизнь: две разобранные кровати, скатанные матрасы, вобравшие в себя их сон и надежды, бурные ссоры и обвинения, гардероб и шкаф, куда они прятали свою любовь и ненависть, – сейчас пустые, с распахнутыми дверцами и выдвинутыми ящиками, словно очищенные ловким вором. Она видела и семейство Улаха – его дом под открытым небом, светлый и уютный, кудрявого мальчугана в розовых рейтузах, сверкающую металлом улыбку его матери. Все это было невыносимо, и она двинулась, как ненормальная, прочь от станции, миновала свинарник и вошла в сухо шелестящую прошлогоднюю кукурузу. Там она села и сидела до тех пор, пока семейство Улаха не тронулось в путь. Подобрал с земли бывшую форменную фуражку ЖэДэ и пряча ее за спиной, Улах попрощался с ЖэДэ и повел за собой свое семейство вверх вдоль железнодорожной линии. Оно шло, таща с собой родовой шатер с четырьмя отполированными множеством рук кольями, старый желтый чемодан, купленный на толкучке, одеяла и узлы, кувшины и бутылки. А Улах нес под мышкой кларнет в мешке и фуражку ЖэДэ, которую собирался надеть за первым же поворотом. Позади всех скакал и приплясывал мальчуган в розовых рейтузах. Рекламная келка „Спортлото“ была залихватски сдвинута набекрень.

Силуэты идущих все уменьшались и уменьшались, пока вообще не растаяли в пламени разгорающегося

дня, которое вновь охватило виноградники, шоссе и мост и теперь устремилось к старому умирающему селу, которое все горело, горело и все не желало сгореть.

ЖэДэ нашел жену в кукурузе, она сидела, обхватив руками колени. Он взял ее за худую смуглую руку, поднял с земли и обнял. Она не вздрогнула, не засмеялась, не сказала ни слова. И ЖэДэ понял, что мимо закрытой железнодорожной станции, не останавливаясь, прошел не только 205-й поезд. Промчалось еще что-то и не остановилось. И чтоб забыть про это, уничтожить саму память о нем, он хрипло произнес:

– Что с них взять – цыгане!

## ДУША ЛЕСНИКА

– А душа, где твоя душа, Лесник?

Эти слова Спаса застряли у него в голове с прошлой пятницы. Лесник бродил по пустому селу, заглядывал в пустые дворы и ругал переехавших в Рисен или в город хозяев... По вечерам на село опускалась глухая тишина и, не выдерживая тиши и безлюдья, Лесник отпирал трансформаторную будку и включал уличное освещение – двадцать две люминесцентные лампы на высоких столбах. В одиночестве, руки в карманах куртки, ходил взад и вперед по тротуарам – его гордости несколько лет назад. Глухо звучали его шаги в голубоватом свете ламп... Где моя душа, спрашиваешь? Да вот в этих тротуарах, в этих столбах, за которые хотели меня наказать. – За что меня наказывать, говорю, за то, что хочу, чтоб народу было светло? – Да, но на какие средства? На какие – на народные! За это вы собираетесь меня наказать, что я хочу, чтоб люди по плиткам ступали, а не по грязи? За это хотите меня наказать, что я заставил Дачо сколотить круглую тумбу для афиш? – Какие афиши, Лесник, кто будет гастролировать в вашем селе, если нет людей? – Есть люди, есть еще, чуть не крикнул Лесник. – Хорошо, ты говоришь – есть, а когда в последний раз к вам приехал окружной театр с пьесой Штейна „Океан“, было продано лишь семь билетов. Как играть артистам для семи человек? – Будут играть, не стерпев, повысил Лесник голос, будут играть для семи человек – ведь искусство для народа!

– Переглянулись члены бюро, секретарь покрутил чернильницу, засмеялся: ну и упрямец ты, Лесник! – А Лесник тогда: почему не пустили магистраль возле села, люди тогда не стали бы убегать! Как же ее нам пустить, ведь она проектируется в центре в соответствии с государственными соображениями в общенациональном масштабе!

Лесник остановился, и шаги остановились. Показалось ему, что он один-одинешенек на белом свете. Хоть бы уж была у него собака – залаяла бы, побежала за ним, а то – никого! Вспомнил он, как когда-то отстреливал собак, чтобы предупредить заражение людей солитером, как стоял перед ямой с дедом Стефаном, Илларионом, Оглоблей, Спасом и Дачо, как выл пес Оглобли Алишко и как Оглобля попросил у него пистолет, чтобы самому убить своего пса. Когда прозвучал выстрел, они вернулись и увидели, что собака упала в яму, а мухи уже уселись ей на глаза; Оглобля стоял неподвижно, белый, как мел, словно из него взяли всю кровь... Вот там была моя душа, сказал пустому селу Лесник, – там, когда я выполнял директивы и постановления во имя блага и здоровья народа, когда убивал собак, чтобы они не заражали людей.

Нет, Лесник, душа твоя не там, возразил бы на это Спас, болгарин свою душу не раскрывает, не берedit ее, потому как если раскроет ее и копнется в ней, самому страшно станет! Страшно тебе, Спас, потому что ты всегда был в оппозиции, потому что при фашистах был начальником почты, а потом барышничал, и два раза мы посылали тебя в лагеря, и оба раза ты возвращался, задрав нос, будто побывал в Мекке и стал хаджи... Что у меня в душе, спрашиваешь? И это ты, Спас, интересуешься? Вот это село у меня в душе, Маркс и Энгельс, Ленин и социализм и вся моя жизнь, и новые горизон-



ты, куда я хочу вас вести, а вы упираетесь, как казань-лыкские ишаки.

Лесник увидел грузовики с пожитками, за ними телегу, следы шин на дороге. Лил дождь, овраг был полон желтой воды, четыре мокрые овцы жались к ограде. Уезжали Оглобля, Недьо и Зорка с маленьким Дмитрием, Гунчев и Йордан-цирюльник. Бабка Неделя стояла возле тумбы для афиш, ее зеленые глаза горели огнем из-под платка. Лесник топтался на месте: он и угрожал, и просил, и агитировал – ничего не помогло. Овцы блеяли, Гунчев и Йордан-цирюльник втаскивали их одну за другой на грузовик. Лесник с непокрытой головой молча стоял под дождем. Появился Оглобля в черном немецком дождевике, протянул ему руку.

– Ну, Лесник, прощай, – сказал он. – Душу ты из нас вытряс, но...

– Это не я вытряс, – глухо отозвался Лесник. – Это историческое развитие вытрясло...

– Не знаю, – произнес Оглобля, будто они касались этой темы впервые. – Знаю только, что когда ты мне дал пистолет, чтобы я застрелил Алишко, мне очень хотелось прихлопнуть тебя.

– Почему же не прихлопнул? – спросил словно впервой Лесник.

Оглобля махнул рукой, лицо его потемнело. Не ответив, направился к грузовику. Лесник бросился за ним.

– Почему не прихлопнул?

Они стояли под дождем, опустив головы, не смея посмотреть друг другу в глаза. Гунчев шмыгал носом, вытирал его мокрым рукавом. Оглобля нагнулся, поднял с земли оброненный кем-то ремешок, повертел в руках, потом, размахнувшись, швырнул в овраг.

– Прощай, Лесник, – промямлил Гунчев.

– И ты, член партии, ударник, тоже бежишь? –

рявкнул Лесник. – Куда вы бежите? Кому оставляете эту землю?

Никто ему не ответил. Йордан-цирюльник жевал хлеб. Недьо с Зоркой и Димитром садились в кабину грузовика.

– Зачем мы вас женили, – закричал Лесник, – зачем вы родили сына, когда еще до этого у вас были внуки? Вы же хотели стать новыми людьми, ведь это было первым рождением человека в селе за последние несколько лет?!

Недьо, потемнев лицом, только моргал, а Зорка заплакала – мокрые седые волосы прилипли к лицу, мальчуган в новой синей шапке тоже захлюпал носом.

– Лесник, не надо! – взмолился Недьо, помогая Зорке взобраться в кабину. Ветровое стекло в потеках дождя скрыло их лица. Грузовик тронулся – грузовики им дали в Рисене, а Оглобле дали телегу.

Лесник отступил в сторону, но грузовик все равно его обрызгал.

– Приусадебные участки нам дают, Лесник, – проговорил с полным ртом Йордан-цирюльник. – Хозяйство большое, современное, наши хвалятся – все там хорошо, и людей много, и всего остального, а здесь мы вскорости совсем бы одичали.

Йордан поставил в кузов второго грузовика кадушку, потом клетку с кудахтающими курами, влез сам, за ним Гунчев. Второй грузовик тоже тронулся, за ним двинулась и телега с Оглоблей – черным, как мокрая головешка. Лесник побежал вслед, ругаясь, проклиная их за то, что оставили родной очаг, землю, хозяйство... Где у меня душа? Вот она – в этих людях, что сейчас убегают, в этих людях, которым я каждый день вдалбливал в головы надежду на прекрасное будущее, с которыми мы распахали межи и сделали землю общей,

с, которыми работали столько лет плечо к плечу, локоть к локтю.

– Раньше, – сказал Спас, – не было тротуаров и люминесцентных ламп, но амбары были полны. Играли свадьбы, дети рождались, а сейчас для чего тебе эти двадцать два столба и тротуары, и эта тумба для афиш? Хоть бы некрологи были, тогда приклеивал бы их на нее! Давай, Лесник, отправляйся и ты в Рисен, а я поселюсь в твоём доме, вымою пол, в носках войду. У тебя и фруктовые деревья есть – четыре персика, черешня и грецкий орех.

Лесник задохнулся от гнева, в глазах у него потемнело, рука потянулась к поясу, где он когда-то носил пистолет.

Погоди, да когда это я говорил со Спасом, опомнился он. От одиночества стал сам с собой разговаривать! Лесник остановился: он незаметно дошел до конца села, до двадцать второго столба. Нет, Спас, не надейся, не выйдет по-твоему!

Утром газик Ликоманова снова остановился у его калитки. Лесник вышел, пригласил гостя в дом, как положено для дружеской беседы. Не буду входить, сказал Ликоманов, я тороплюсь, нужно объехать район, восемь хозяйств – это тебе не шутки. Лесник поглядел на него: териленовый костюм, черные полуботинки, белая сорочка, темно-красный галстук – как будто собрался на окружную конференцию. И это тот самый Ликоманов, с которым они вместе учились, который окончил заочно агрономический факультет, с которым они отсидели множество совещаний в окружном центре! Постарел немного, но строен, лицо сухощавое, губы тонкие, острый нос, пронзительный взгляд. Ну и ну, подумал про себя Лесник, восемь хозяйств, териленовый костюм, полуботинки...

– Ну, что решил? – спросил Ликоманов, закуривая.

– Мне решать нечего. Я тебе сто раз сказал: отсюда – никуда!

– Послушай, Лесник, мы будем организовывать современное хозяйство, оставь эти местнические настроения, смотри шире, в первую очередь – общее дело!

– Я и болею за общее дело!

– Болеешь!

– Никуда я отсюда не двинусь!

– Не артачься, как ребенок, Лесник! Ваши тебя хотят, каждый день приходят ко мне – так и так, пусть Лесник сюда приедет, мы привыкли с ним работать... Сейчас подписи собирают.

– Пусть собирают.

– Не упорствуй, есть и решение окружного комитета.

– Эх, Ликоманов, ничего-то ты не понимаешь! У тебя есть где-нибудь прочные корни?

Ликоманов, раздавив ногой окурок, прищурился:

– Ладно, я еще заеду. Слушай, ваши землю получили, дома строят, уже целый квартал заселили. Чего тебе здесь одному куковать?

Лесник промолчал. Газик умчался. Тогда он грубо выругался. Потом еще раз. Помянул недобрым словом и Ивана Председателя, который все хотел, чтобы кто-нибудь подбросил ему хорошую идею, а в конечном счете сбежал, как и все остальные. Идеи, хмыкнул Лесник, ты мне дай людей, а идеи сами появятся. Легко тебе было болтать, Председатель, о нефти и золоте – да если бы возле села были нефть и золото, люди бы раньше не уезжали на заработки за границу. Кто сеял и жал в этом селе? Женщины да старики. Мужики все уезжали, и неизвестно было, когда вернутся – в этом году

или в следующем... Потом в душе его вновь ожила надежда, мысленным взором увидел он, как обратно в село возвращаются его жители на грузовиках и телегах, с овцами и собаками, с кадúшками и клетками с курами, как распахиваются ворота Зорки и Недьо, вот и они сами, а с ними и мальчуган в синей шапке! Не напрасно его назвали в честь столетнего деда Димитра – назвали его так, чтобы жил он сто один год и село чтоб на нем держалось. Мы вернулись, плачет Зорка, нет ничего лучше родного дома. Вот и Оглобля возвращается, сгружает железную кровать и матрас – мрачный, черный, вздыхает: видишь, Лесник, мотало нас туда-сюда, кидало, а все равно домой вернулись. И Илларион возвратился, снова торгуется со Спасом из-за дома, хочет купить его в третий раз. Спас не желает продавать, поднимает цену. Оживает село. Вот и Йордан-цирюльник появился, потирает руки и жует хлеб, позади него Гунчев, смотрит в землю, глаз не смеет поднять – оба ударники, гордость кооператива, спрашивают у Лесника: какая есть для нас работа, да смотри, чтоб потяжелее была! Учитель Димов тоже приехал из Софии, вылечился, и Американец тут как тут – в старой фуражке на голой голове, лицо вроде серьезное, а все железные зубы видно, которые он в Америке делал. Тумба будет вся обклеена афишами, и театр приедет на гастроли, и местный радиоузел заговорит по утрам...

Лесник заметил кошку Дачо, соскучившуюся по людям, и поманил ее. Стрельнув в него фосфоресцирующим взглядом, кошка отступила, потом прыгнула на ограду и исчезла. Исчезли и видения Лесника, а в воротах появился Спас в накинутом на плечи зеленом пальто, важный, как румынский помещик.

– Газик снова приезжал, – сказал Спас, садясь на ящик у стены.

Лесник молчал.

– Ты согласился?

– Нет!

– Значит, устоял перед напором?

– Устоял! – подтвердил Лесник и взорвался: – А ты-то сам почему не едешь в Рисен вместо того, чтоб проявлять обо мне такую заботу?

– Куда мне ехать, у меня тут семь домов. Ты поезжай, будешь заместителем, на машине будешь разъезжать.

– Спас, замолчи! – простонал Лесник. – У тебя, что, нет сердца?

– Сердца? – удивился Спас. – А зачем мне сердце? Я, милоч, номер 4521.

– Какой еще номер?

– А такой, – гордо улыбнулся Спас. – Номер очереди на машину. Еще в позапрошлом году я внес полторы тысячи, остальные деньги тоже готовы. Скоро подойдет моя очередь, и ты увидишь меня за рулем.

Лесник вытаращил глаза:

– Значит, все-таки уезжаешь?

– Никуда я не уезжаю, Лесник! – Спас поднял голову, его серые глаза блеснули. – Даже если все уедут и я останусь один, все равно не покину село. А машину покупаю просто так – чтоб идти в ногу со временем. Сегодня, например, решу в Пловдив съездить, ярмарку посмотреть, завтра – на море махнуть, на курорте Албена побывать. Слушай, я тебе вот что скажу. Не знаю, чем хорош социализм, но одного нельзя отрицать – вы открыли нам глаза.

– На что мы вам открыли глаза?

– На жизнь, – ответил Спас. – Ведь раньше мы рабами были, всю жизнь экономили на всем, чтоб землю купить, из-за земли, бывало, и убивали, деньги на чер-

ный день берегли. Сейчас же народ дал себе волю, пустился жить вовсю, и его уже не остановить! – Спас уселся поудобнее, откашлялся и с насмешкой продолжал: – Так какого цвета машину ты посоветуешь мне взять? Серую, красную или голубую?

Вскочив, Лесник схватил Спаса за грудки, но не увидел страха в его серо-стальных глазах. Он увидел в них лишь насмешку и ту ночь, когда в первый раз постучался в его ворота, а сзади ждали газик и два милиционера. Залаяла собака, послышался женский вскрик, Спас вышел, увидев его, попятился, тут стук раздался и у соседей... Нет, Спас, я не забыл и другой ночи, когда умерла Мария и я ходил, как потерянный, и снова постучался в твои ворота, а ты подумал, что это опять за тобой, но когда узнал, что произошло, пошел вместе со мной, и мы оба молчали; и пока бабка Неделя обмывала Марию, пока я разжигал огонь и носил воду, плохо сознавая, что делаю, ты сидел на ступеньке босой, в накинутом пальто, и я подумал, что ты забыл прошлое. Однако ты его не забыл и никогда не забудешь, но не дождаться тебе, чтобы я уехал в Рисен, а ты взял себе мой дом! Знаю я тебя, как облупленного, вижу, как оглядываешь его хозяйским глазом еще сейчас, фруктовые деревья считаешь, орех оцениваешь. Но не будет по-твоему! Отпустил Лесник отвороты зеленого пальто, откачнулся, сел. Хрипло засмеявшись, произнес:

– Жди, Спас, но не дождешься, чтоб они отсохли!

– Что отсохло?

– У барана яйца!

Ничего не сказав, Спас поднялся и ушел. А где у меня душа? – хотелось Леснику крикнуть ему вслед. Где она? Вот тут! – он показал на ближайший столб люминесцентного освещения. И вон там, и там, и там! Где у

меня душа, спрашиваешь? Вон там, где меня когда-то истязали, сапожные гвозди забивали под ногти, железным шомполом по животу били, где я нюхал, как воняют тюремные параши, вон там, где я прикрепил флаг к первому трактору и заставил духовой оркестр играть как раз напротив вашего дома, вон там, где мы перепаживали межи и твою несчастную душу тоже перепаживали и все межи уничтожили. И для чего? Для того, чтобы ты сейчас передо мной куражился, говорил, что социализм научил тебя жить, что ты уже не раб и машину собираешься купить и даже номер у тебя на нее есть – 4521? Да, но не на тот номер ты, Спас, ставишь, не на тот! На днях приедет из города комиссия, обойдем мы все дома и объявим некоторые памятниками культуры. Государство отпустит средства на их реставрацию, реставрируем их, таблички повесим, и начнут сюда приезжать туристы.

Глаза Лесника засверкали, он встал и принялся расхаживать взад-вперед по плиточной дорожке.

– А если не приедут туристы, – крикнул он громко, обращаясь к пустым дворам и пустым домам, – я доставлю сюда кинематографию! Будут тут снимать фильм за фильмом, и село снова возродится! – Разгорячившись, он принялся жестикулировать, словно выступал на собрании перед сотнями людей, взыграла в нем старая кровь агитатора: – Привезут сюда прожекторы, камеры, разные там рельсы и машины, все загудит, заработает, явится молодежь создавать искусство, и вечером люди не будут спотыкаться в темноте, а будут ходить по освещенным улицам, по тротуарам, которые мы построили собственным потом для них, для людей, и афиши на тумбу наклеем...

В лихорадочном возбуждении он обулся и кинулся обходить дома. Открывая щеколды калиток, перепры-



гивал через ограды, перелезал через затянутые паутиной плетни, разделявшие соседние дворы. Войдя во двор Оглобли, вспомнил сон, который приснился ему позапрошлой ночью: будто тащит он воз со снопами от Илакова бугра к мосту. Рассказал он его бабке Неделе, а она спросила:

– Как был воз – задом или передом?

– Не помню.

– Ежели передом, значит, ты был впряжен.

– Нет, не был, это точно помню.

– Лучше, если ты был впряжен, Лесник. Не к добру, ежели ты тащил воз задом.

Бабка Неделя тогда сказала ему, что уже лопаются почки, и вот сейчас, в саду Оглобли, он услышал это. И ощутил весенние соки, которые текли уже и в его теле, и почувствовал, что пришла весна. Увидел и аиста, несущего в клюве веточки к куполу церкви. Сон, значит, не к добру, а? Да ведь я всегда был впряжен, бабушка Неделя, задом воз или передом, я всегда был впряжен и тащил на себе воз! В душе Лесника что-то перевернулось, в глазах потемнело, а потом его бросило в жар и руки зачесались. Огляделся он вокруг, увидел землю в огороде Оглобли – землю, мечтающую о том, чтоб ее вскопали. Стало легко на душе, схватил он забытую Оглоблей лопату, снял майку, поплевал на руки и принялся за работу.

Вскопав весь огород Оглобли, уставший и радостный Лесник перевел дух и сказал:

– Я вскопаю огороды всех, кто убежал, – и Недьо и Зорки, и Гунчева, и Йордана-цирюльника, и Дачо, и Американца! Весна уже пришла, поглядите, люди, – земля просит, чтоб ее вскопали! Где у меня душа? Да здесь она, моя душа, вот здесь, здесь!..

## БЕССЛОВЕСНОСТЬ

Давно уже это было, когда Босьо заговорил и хотел найти слово, которое выражает абсолютно все на свете. За несколько месяцев после пятидесяти лет молчания он употребил все слова, какие слышал до тех пор, расспросил людей буквально обо всем, а потом снова замолчал. Никто ему не поверил, что однажды птичка села на тополь и спела ему все, а это была святая истина. Но люди правде не верят. Ври им напропалую – вот тогда они поверят! „Правде нет веры, – сказал в свое время дед Димитр, – как айве нет роста, ежели привить ей яблоневого черенок!“

Когда сбежали люди из села в город, на стройки и в Рисен и осталось всего несколько человек, Босьо повернулся к ним спиной. И к селу тоже, хотя оно всегда было перед глазами – и днем, и ночью. Оно являлось ему и во сне, вроде бы и не село даже – нет ни домов, ни оград, но Босьо знал, что это оно: вот Бараган, вот Парцаля, вот овраг, и если других мостов через него – а их шесть – не видно, то висячий мост Дачо – вот он, живее всех остальных, от человеческих шагов вздрагивает, да, вздрагивает! Босьо и Генерал столкнулись лицом к лицу на середине моста, раньше такими друзьями были, а сейчас вот-вот молча разминутся, словно незнакомые. Босьо, – сказал Генерал, светлые глаза его выглядели уставшими, под ними – черные круги, – мы можем молчать, но все равно остаемся друзьями, верно? – Да, – кивнул Босьо, но кивок – не слово, и „да“,

сказанное так, – не настоящее, как и село – не настоящее, если в нем не живут люди.

Как не замечать Генерала? Босьо показалось, что встреча эта произошла тоже во сне, ночью, а ночь выделась ему белым днем, тем более, что в последнее время Лесник регулярно включал люминесцентное освещение. Э, как тогда жить, не глядя на село?

Вот уже два дня, как над моей крышей кружатся аисты – самец и его подруга. Улетит самец куда-то, потом снова возвращается и опять давай кружить вокруг печной трубы. Когда на моей трубе аисты вили гнездо? Никогда! Дом низкий, труба из глиняных кирпичей... А этот аист вроде бы мне знаком, не деда ли Димитра? Другой аист на церкви живет, звонарь, еще когда его прогонял да не смог, все село тогда разделилось на тех, кто за звонаря, и на тех, кто за аиста, чуть не передрались, звонарь потом умер, а аист все прилетает... Но этот другой, чей же он? Наконец, сел он на крышу, пощупал ее ногой, я чуть было не заговорил с ним, позабыв про свою бессловесность, вижу – крыша ему нравится. А он смотрит на меня, ощупывает меня глазами – подойду ли я ему.

Как не подойти – ведь аист любит такую трубу, чтоб летом очень-то не дымила, а если и будет дым, то от хвороста и мякины, и крыша чтоб теплая, и люди чтоб под ней были, а сейчас какой у него выбор, где люди-то? Подруга его тоже села на крышу, она пониже и понежнее его, клюв у нее так и подпрыгивает – то ли ругает его, то ли ластится, кто их, женщин, разберет? А потом полетели вдвоем к реке и стали носить веточки да ил – и гнездо скоро было готово. Не прошло и несколько дней, смотрю – новый аист кружит, но положение ему ясно: труба занята, ищи, стало быть, другое место. Мой вроде бы ему это сказал, но тот продол-

жает кружить, и они словно бы поссорились; этот, второй, упрямым оказался – я и не знал, что у аистов есть упрямство. Сделать для него вторую трубу, что ли? Глины в овраге сколько хочешь, ила тоже достаточно, за один день поставлю трубу, но печки-то у меня второй нет! А если прилетит и третий аист, как тогда быть?

Босьо подметал перед домом, стучаясь иногда головой о низкую стреху. Над крышей кружился аист, а вот и ласточки прилетели! Кроме Иванички – ласточки Босьо, которая прилетала каждую весну и вместе со своим самцом вила гнездо под стрехой как раз над дверью, – прилетели еще шесть – каждая со своим самцом – и заняли места вдоль балок стрехи, словно кто-то заранее распределил, кому где жить. Окончив подметать, Босьо выпрямился и опять ударился о стреху головой. Тут ему показалось странным, что, когда он начал подметать, гнезд еще не было – значит, он подметал целую неделю во сне. Это во сне неделя продолжается столько, что еле успеешь произнести „Как бы не так!“ Совсем я запутался, подумал он, по отношению к самому себе никак нельзя быть бессловесным – когда же я спал, если подметал все это время? Он посмотрел на часы с желтой крышкой, которые подарил ему на память Американец; он заводил их каждый вечер перед тем, как лечь в постель. Часы были с двумя желтыми ключиками, которые прикреплялись с внутренней стороны крышки, – один для завода большой пружины, другой – для музыки. Босьо всегда заводил и одно, и другое, потому что любил по утрам слушать мелодию песни „Тираны, совершим мы чудо“, которую выводили медные колокольчики.

Оранжевого петуха очень раздражала эта музыка, и он то и дело поглядывал на часы через открытую

дверь. Ему ужасно хотелось их склевать. Пять белых кур с удовольствием слушали песню – петух ревновал их буквально ко всему, а сейчас и ласточки стали заслушиваться ею. Так уж получилось – одно к одному, что прилетели откуда-то и голуби. Кто их подманил – неизвестно, они ведь тоже бессловесные существа, впрочем, кто знает? Голуби остались у Босьо, он сколотил им голубятню из ящика из-под мыла и повесил на тополь. А на тополе уже жили две малиновки, славка и множество воробьев, ну, они не в счет, у них нет дома, они как цыгане – как пронюхают, что где-то можно поесть-попить и позабавляться, – и тут как тут.

И все это произошло за одну неделю, а Босьо считал, что уже от всего отвернулся. Но как можно отвернуться от птичек?

А вот в его двор заглядывает Спас. Повернувшись к нему спиной, Босьо что-то приколачивает, а рядом с ним проносятся ласточки, воркуют под стрехой голуби, прыгают воробьи, перелетают с ветки на ветку шелковицы малиновки и пеночки, в глубине двора оранжевый петух бранит за что-то пять белых кур. А с трубы щелкают клювами аисты.

– Босьо! – позвал Спас. – Босьо!

Босьо поднял голову и снова стукнулся о стреху, согнувшись, вылез из-под нее, выпрямился. Спас был в зеленом пальто, накинутом на плечи, в черных бриджах и красных сапогах.

– Что случилось, Спас? – спросил бы Босьо, если бы не был бессловесным.

– А ничего, – ответил Спас. – Мы же с тобой соседи, вот я и решил заглянуть, посмотреть – жив ли ты?

– Жив, – сказал бы ему Босьо, – сам видишь, что жив.

– Вижу, а почему вокруг тебя столько птиц? В селе людей не осталось, а ты стал птиц разводить!

– Они сами разводятся, Спас, – пояснил бы ему Босьо, если б не был бессловесным. – Может, музыка им понравилась, не знаю, но и им без людей плохо, тоска одолевает. Раньше только ласточка Иваничка с самцом прилетали, а сейчас прилетели еще шесть пар.

– Ко мне птицы не прилетают, – сказал Спас, – наверное, боятся телевизора или радио. Да, чуть не забыл: сегодня утром трое опять полетели в Космос.

– Пусть себе летят, – отозвался бы на это Босьо, – я не смотрю телевизор и не слушаю радио.

– Полетели опять сегодня утром, – повторил Спас. – В Космос.

Босьо шел по тротуару, проложенному благодаря Леснику, который не хотел, чтобы люди шлепали по грязи. Тротуар был сухой и чистый, ветер смел с него всю пыль до последней пылинки. Свет люминесцентных ламп освещал голубовато-белыми лучами пустые дома и сараи, запущенные беседки, обвитые виноградной лозой, заросшие травой дорожки. Немыми изваяниями стояли запертые ворота. На сарае Йордана-цирюльника еще висели два молотила, давно забывшие о том, что такое снопы и молотьба. Вот и тумба для афиш, совсем новая, белая – такой она, видно, и останется с одной только афишей – о спектакле по пьесе Штейна „Океан“. За ней возник, будто нарисованный, висячий мост Дачо над оврагом.

Кошка Дачо перебежала ему дорогу и шмыгнула под ворота – проверить, не вернулись ли хозяева. Увы! Окна в доме были темные, занавески сняты, железные решетки, давным-давно некрашенные, покрыты ржавчиной. Бабка Неделя, как всегда, сидела на балконе на сундуке, по-кошачьи поджав ноги. На секунду Босьо уловил зеленое сияние ее глаз. Интересно, когда спит

бабка Неделя, или для нее ее долгая жизнь – всего лишь бесконечный сон, а может, сама она просто сон?

Наконец Босьо подошел к дому Генерала. Еще не увидев света, он уже знал, что Генерал не спит. Издалека слышался стук пишущей машинки, и Босьо спросил себя: если бы он умел писать и имел пишущую машинку, не исписал ли и он, как Генерал, уже четыре тысячи страниц, а то и больше? Босьо сел на скамью перед домом, обхватил колени руками и стал слушать, а над его головой пишущая машинка долбила и долбила бессловесность, выкорчевывала слова и ковала их, набивая на листы бумаги. Хорошо, но неужто никогда не иссякнут эти проклятые слова, не поднимется из-за стола Генерал и не скажет:

– Все. Конеч!

Машинка умолкла, но Босьо было хорошо известно, что Генерал не сказал: „Все. Конеч!“ и что никогда этого не скажет, просто у него затекла спина, и он захотел немного размяться, сделать несколько вдохов и выдохов. Босьо услышал его вздох и тоже вздохнул: в тиши голубовато-белой ночи раздались два человеческих вдоха. Встав со скамьи, Босьо подошел к входной двери, открыл ее – здесь не висячий мост Дачо, чтоб разминуться. Зачем я пришел, спросил себя Босьо, поднимаясь по скрипучим ступеням, но уже знал, почему он идет к старому другу – и с открытым лицом.

– Входи, Босьо, – сказал Генерал, ничуть не удивившись.

Пригласил гостя сесть, и тот опустился на лавку рядом с оружейной пирамидой, покрытой брезентом, и большой гильзой, подаренной на память Вторым артиллерийским полком. Генерал был в военном мундире без погон, накинутом на плечи, и белой рубашке. Волосы поседевшие, под светлыми глазами темные те-

ни. Он улыбнулся, глаза его увлажнились и стали еще светлее.

– Как твои птицы, Босьо? – спросил он.

Босьо кивнул, что означало, что птицы в порядке и что птицы – это птицы, они держатся вместе и всегда могут найти человеческое жилье, чтобы свить гнездо. Его кивок относился и к славкам, и к малиновкам, и к пеночкам, и к воробьям, напоминающим цыган, и к голубям, и к аистам, и к гривачам, прилетевшим позавчера, и к оранжевому петуху, и к пяти белым курам, и к часам. Словно важно знать, который час, кивнул Босьо, когда нет людей и песню „Тираны, совершим мы чудо“ должны слушать птицы.

Генерал все понял, улыбка его погасла.

– Эх, Босьо, – вздохнув, произнес он мягким голосом, в котором давно уже не ощущались генеральские нотки, – я никогда не забуду, как мы с тобой встретились тогда на тропинке возле виноградников. Ты шел с баклагой за водой, а я сидел на камне и смотрел на спящих под орехом женщин. Помнишь?

Босьо кивнул.

– Я каждый день думаю о тебе, – продолжал Генерал, – и все время ввожу тебя в то, что пишу. Ты вроде и стоишь ко мне спиной, а я вижу твое лицо и всего тебя вижу, слышу все слова, что ты таишь в себе, и все пишу о тебе, но не могу кончить, сказать самое главное. Вот и сейчас я тоже писал о тебе. Хочешь, прочту?

Босьо снова кивнул.

Генерал взял из стопки несколько листов, надел очки и стал читать:

„Тогда я наказал его тремя днями карцера... – Подняв очки, Генерал пояснил, – это о лейтенанте Рогачеве, да... а вот о тебе: -- ...Он со мной не разговаривает, как было тогда, когда он снова перестал говорить, по-



няв, что не может найти слово, которое бы выражало все на свете. Я тогда спросил Босьо, что это за слово, а он ответил, что не знает. Мне очень хочется спросить когда-нибудь бабушку Неделю, может, ей известно то слово, но толку от этого не будет, потому что она занимается рожденьями и смертями, а не словами. Может, поэтому и Босьо, расспросив всех, не осмелился спросить у нее. Что я могу ему сказать – вижу, мучается, но молчит, и молча мы с ним разминулись на мосту Дачо: хоть мы и друзья, но повернулись друг к другу спиной, а ведь оба ищем – он молчанием то единственное слово, я – словами то единственное молчание. Но, думаю я, слово – это молчание, а молчание – слово, и очень мне хочется пойти к Босьо, оторвать его на несколько минут от его птиц и сказать ему все это, но знаю, что все перепутаю, потому что никогда не могу отделить сегодня от вчера, вчера – от завтра и описываю как действительные случаи из моей жизни вместе с рассуждениями, так и те случаи, которых никогда не было, а может, никогда и не будет.

Возможно, поэтому мне иногда кажется, что в нашей жизни, в самом ее естестве, есть что-то неясное – иногда день кажется мне ночью, а ночь – днем, в другой раз приходит в голову, не снится ли мне то, что наяву, а что же тогда явь? И хотя у нас есть часы и календари – числа, дни, месяцы, годы – время ими не измеришь, какой-то момент может быть и просто мгновением, и целой вечностью, как тогда, когда я смотрел на спящих под орехом женщин и мне хотелось, чтобы они никогда не просыпались, я не вставал с камня и Босьо не продолжал свой путь за водой. И речь идет не о световых годах, которые в Космосе выравниваются, не о времени и пространстве или об обратном времени. Кстати, что такое обратное время? Будто бы время вообще не

обратное – достаточно посмотреть вперед или обернуться назад! Да вот, мне стукнуло семьдесят три, а я все еще тот мальчуган, которого побили за то, что разорвал новые штаны, взобравшись на сливу. А когда окончится и может ли окончиться тот бой с жандармерией полковника Манчева у Чертовой скалы, когда у нас было всего семь винтовок и двадцать три патрона? И будто люди, сбежавшие из села, сейчас не здесь – в своих домах и дворах – вон, я вижу, как они возвращаются с поля, и на поле их вижу, когда выхожу поразмяться и освежить мозги, и Босьо всегда вижу. Даже если мы не разговариваем, он здесь и всегда останется здесь...”

– Генерал, – сказал своим настоящим голосом Босьо.

– А! – вздрогнул Генерал. – Ты опять заговорил?

Покраснев, Босьо опустил голову, его большие руки никак не могли найти коленей, чтобы лечь на них.

– Нет, – пробормотал он, – не заговорил, но хочу тебе что-то сказать, Генерал.

– Говори, Босьо.

– Знаешь... – проговорил Босьо, не поднимая головы, словно совершил что-то постыдное и теперь не смеет посмотреть другу в глаза. – Знаешь, Генерал, когда здесь были люди, я мог молчать, мог быть бессловесным, но сейчас не могу.

– Ну так заговори снова! Почему молчишь?

– Не могу, Генерал, для чего попусту тратить слова?

– Э, и что тогда думаешь делать?

Босьо поднял глаза, увидел оружейную пирамиду, гильзу, фотографии на стене, стопку исписанных страниц на одной стороне стола и пачку чистых листов на другой, стенной шкаф, в котором Генерал хранил свои униформы, тюремную одежду, партизанскую куртку и ставшие твердыми, как камень, ботинки.

– Уеду в Рисен, Генерал, – проронил он. – Я могу быть бессловесным, могу молчать, а вот без людей – не могу. Я сказал себе: повернусь ко всему и ко всем спиной – и к Спасу, и к Леснику, и к бабке Неделе, и к тебе, и к селу, но...

– Значит, сбежишь отсюда! – крикнул Генерал, и в голосе его прозвучали забытые генеральские нотки.

Босьо промолчал. И вообще не сказал больше ни слова.

Утром Генерал пришел к нему, но его уже не было. Двери были открыты. На полу лежал домотканый коврик. Подушки были до отказа набиты соломой, на них белые наволочки. Возле иконы висели каракулевая шапка и палка с загнутой рукоятью, принадлежавшие брату Босьо, который был судовым поваром. Над головой Генерала стали носиться ласточки. С писком они вылетали наружу или возвращались под стреху. По двору важно расхаживал оранжевый петух, за ним, кося любопытными глазками, семенили пять белых кур.

Прилетел голубь-гривач. На тополе щебетали славки. На трубе чистил крылья аист, щелкая клювом. Понял Генерал, что Босьо уехал и оставил дом птицам. Повернувшись к выходу, Генерал споткнулся о треногую табуретку, на которой стояли часы с желтой дверцей. От удара, видимо, пружина стала раскручиваться, и часы медленно и торжественно заиграли „Тираны, совершим мы чудо“. Босьо или забыл часы, или нарочно оставил на табуретке. Вздохнув, Генерал стал слушать мелодию, даже не взглянув на циферблат.

И разве имело значение, который час?

## ДОМА СПАСА

Человек что колодец, говорил себе Спас. Копаешь в одном месте – на глубине в метр забьет фонтаном вода. Копаешь в другом – на глубине в десять, двадцать, сто метров воды не найдешь. А бывает – колодец вроде бы высох, а копнешь разок, и потечет струйка, оживет мертвое дно. Таинственное существо человек! До Девятого сентября посылали меня в лагеря один раз, после Девятого сентября – два раза, итого – три. И я копал, и они копали, а что в колодце – одному мне известно. Вертится колесо истории, поблескивая спицами, а ты где находишься? Где? Не знаю, говорил Илларион – тогда он еще не продал Спасу свой дом в первый раз. Вот видишь, Илларион, не знаешь, а колесо истории вертится, загребает.

– Что загребает? – спросил тогда Илларион.

– Тлен, – ответил философски Спас.

Потом колесо истории долго вертелось и загребало. Илларион продал свой дом Спасу за триста пятьдесят левов, а спустя известное время, вернувшись из города, купил его обратно, и Спас взял на пятьдесят левов больше. – Почему, Спас? – спросил Илларион. – Потому что надо покрыть накладные расходы, – ответил Спас, – а двадцать левов за венский гарнитур. Затем Илларион снова продал свой дом за сумму на пятьдесят левов меньше. – А накладные расходы? – спросил Илларион. – Если не согласен, – сказал Спас, – не стану покупать твой дом. И Илларион снова продал его ему

за триста пятьдесят левов. Позднее Спас взял – вроде бы под присмотр – дома́ умершего Сеиза, Графицы, Караманчо, бабки Ралки, и вместе с его домом и домом Заики стало их семь – целый квартал.

С шести грецких орехов, прикидывал Спас, в среднем по триста килограммов, то есть по триста левов, это составит тысячу восемьсот. Плюс фрукты и овощи – город близко. „Булгарплод“ никак не наладит регулярное снабжение горожан дарами земли. Два раза в неделю по телеге свежих помидоров, перца, чеснока, лука (они сейчас ввозят лук из-за границы), баклажан, огурцов. Ничем ты их не опрыскивал – ни ДДТ, ни другими пестицидами, все натуральное. А грибы! Принялся Спас за дело. В доме Караманчо подходящий погреб. Купил Спас термометр, обеспечил нужную температуру. И пошли расти грибы, сами себя воспроизводят, не требуется никаких капиталовложений. Вот так-то, Лесник! Деньги у меня есть, верно, но разве я кого-нибудь эксплуатирую? Разве есть у меня батраки? Использую ли я чужой труд? Дома́ если мне не продадут, то подарят; я им деньги даю, а они оформляют дарственную: лучше, чтоб я за ними присматривал, чем оставить их разрушаться. А вот смотри – селу Жеравна государство ежегодно отпускает двести тысяч левов на сохранение в хорошем состоянии старых домов, и во многих еще местах оно ассигнует кучу денег на их реставрацию, а тут я один обо всем забочусь. Завтра, может, наши дома́ музеями станут, или, как ты, Лесник, выражаешься, – памятниками культуры. Разве тружусь я не на пользу тебе, Лесник? А Лесник только сопел в ответ: другое его беспокоило – люди бежали из села, а Спас и не собирался уезжать. Ждет, чтобы я уехал, говорил себе Лесник, – чтобы мой дом взять, но ничего не выйдет у тебя, Спас!

ь. Спас составил себе график работы – каждый час был у него распределен. Спал шесть часов в сутки, трудился без отдыха. Сейчас мне семьдесят два, говорил он себе, – проживу еще десять лет – хорошо. А может, проживу и дольше – лет пятнадцать, двадцать. Он выкрасил железные перила в доме Караманчо, поправил ограду, сменил часть черепицы на крыше, сделал новые подпорки для кровли дома Иллариона. Вымыл полы во всех комнатах, побелил известкой оконные рамы, положив в нее немножко синьки, – чтоб белизна была ярче. Надраил все ручки, обвитые виноградом беседки привел в порядок, отрезав высохшие стебли, посадил новые деревья. – Не думай, что я деньги коплю, – сказал он Леснику, – не такой я дурак, как бай Михал Стефанчин, что помер, оставив шестьдесят тысяч новых левов, зашитыми в матрасе, вместе с клопами. Бай Михал ходил в галошах на босу ногу, ел в день по куску хлеба и одной маслине, носил сплошные лохмотья. Для чего ему были нужны эти шестьдесят тысяч? Наследники теперь будут годами обивать пороги судов, а он уже и сгнил давным-давно.

– Для чего тогда тебе эти дома? – мрачно спросил Лесник.

– Для души, Лесник. Ведь и все вообще – для души, для душевной цели. Когда ты послал меня в лагеря второй раз, я сказал себе: если ты отчаешься, Спас, тебе крышка, свалит тебя рак – и конец! Лежу я ночью и думаю, а в темноте звенят комары, огромные, как медные тарелки, стучаются друг о друга – бум, бум! Ты слышал, как ударяют тарелки в гарнизонном оркестре?

– Ну уж, как тарелки! – пробормотал Лесник.

– Да, право слово! Так вот, стучаются, звенят комары, а я говорю себе: важно не отчаиваться, Спас, коле-

со истории вертится, загребают – сегодня ты внизу, а завтра – наверху. Физзарядку стал каждый день делать, хотя и без того мы работали с раннего утра до позднего вечера. Даже начальство меня уважало, такого почерка, как у меня, не было ни у кого в лагере, не говоря уж об умении поговорить. Ведь каждому, Лесник, хочется потолковать с хорошим собеседником. Когда я уезжал, начальник стал просить: останься, Спас, назначим тебя здесь на работу, хорошую зарплату тебе дадим плюс порцион и материя на одежду. – Нет, сказал я, связан я пуповиной с селом, там у меня тоже есть работа.

– Какая? – хмуро спросил Лесник.

– Я еще не докопал колодец, Лесник, – ответил Спас. – А ты почему не уезжаешь из села? Предлагали тебе работу в окружном комитете? Предлагали. А в милиции? Предлагали. А стать директором промкомбината просили? Просили. Сейчас тебе предлагают должность заместителя председателя комплекса, а ты отказываешься. Значит, и ты хочешь докопать свой колодец.

Лесник не смог сдержаться и засмеялся.

– Не могу я тебя понять, Спас, – сказал он, – знаю, что ты классовый враг, а говоришь такие вещи...

Спас пожал плечами под зеленым пальто, которое всегда носил внакидку. Когда его спрашивали, почему он его не надевает, Спас отвечал: надевают чиновники, а такие, как я, накидывают.

– Слушай, Лесник, – сказал он. – Ответь мне на вопрос: сколько у человека профилей?

– Как сколько?

– Ну когда смотришь сбоку, с одной стороны и с другой. Ведь два, верно?

– Два, – неохотно признал Лесник.

Значит, два. А ты видишь у меня только один. Классовый враг! А другой, другой профиль знаешь какой?

– Какой?

– Социалистический! – веско заявил Спас.

– Нам известно, что он за социалистический! Ты мне голову не морочь своими профилями! – Лесник поднялся: ему пора было идти. – Человек, Спас, должен быть чистым и ясным, как стеклышко! Какой у него один профиль, такой и другой – вот так! Ну, ладно, хватит заниматься болтовней, пока!

Хорошо, продолжал разговор Спас, после того как Лесник ушел, я понимаю, что оба профиля должны быть одинаково ясными и чистыми, как стеклышко. Но природа создала человека и с лицом, и с задом. Одни идут вперед лицом, другие – задом! Брось ты этот треп насчет ясности и чистоты! Знаю я их! Пусть ты не веришь, но я, Лесник, за социализм! Если бы не социализм, что открыл мне глаза, я бы так и помер дураком, как бай Михал. А сейчас и орехи, и грибы произвожу, и трудодни вырабатываю, и дома обустроиваю, и сок из них выжимаю: ведь и у домов, как и у всего на свете, есть сок. Илларион всю жизнь жался в своем доме, мерз, скучал – неуютно ему в нем было. А почему? Потому что не выжал он из него сок! Оставил его втуне! Ты не знаешь вкуса этого дома, а живешь в нем. То же самое и с женщинами. У каждой свой сок. Глядишь, живет какой-нибудь тип со своей женой десять, двадцать, даже тридцать лет, а вкуса ее не знает. Жена его рожала, работала, состарилась, а он удивляется: да это моя ли жена? Как же ей быть твоей, балда, когда сок ее затвердел, нужно было выжать его вовремя. А вот Йордан-цирюльник – как женится, сразу выжимает сок из своей жены, и она умирает по всем правилам. Социа-



лизм и этой мудрости меня научил – из всего сок выжимать. Стал бы я раньше орехи да грибы выращивать, телевизор покупать, тратить деньги? Ни в коем разе! А сейчас географию изучаю, в художниках разбираюсь, все столицы на память знаю, стою в очереди на машину.

Спас встал, разулся, в одних носках вошел в дом № 2 – недавно он пронумеровал все свои дома. Прищурил глаза. В комнате висело около десятка картин. На дверях красовалась белая картонная табличка, на которой красными чернилами было написано красивым почерком Спаса со множеством завитушек „Художественная галерея“. Здесь были медведи Шишкина, запорожцы, громко смеясь, писали письмо турецкому султану, Иван Грозный обнимал сына, хотя тот был уже мертв. Спас повесил в этой комнате занавеси, гармонирующие с цветом стен, снял двери в смежные комнаты – как в настоящей картинной галерее. Затаив дыхание, он вошел во второе помещение. Здесь тоже были картины. „Рученица“ Мырквички в тяжелой старинной раме, картины Верещагина, показывающие Шипкинскую эпопею, „Проводы“ и „Встреча“ Стояна Венева, „Кюстендилская девушка с яблоком“ Владимира Димитрова-Мастера и еще несколько – все репродукции, купленные в городе в книжном магазине. В третьей комнате пока пусто, но вся она сияет: занавески новенькие, оконные рамы сверкают белизной, стены только что покрашены. – Я ее тоже оформлю, – засмеялся Спас, – а Генерал только моргал, но в голове у него уже рождались строки, которые он напишет о Художественной галерее, о колесе истории и о семи домах, за которыми присматривает Спас.

– Что мне сказать тебе, Спас, – произнес он, – я вижу – ты времени не теряешь. Помнится, мы с тобой го-

ворил и однажды о корнях. Крепкий у тебя корень, вот в чем дело.

– Да, крепкий, – согласился Спас. – Скажи-ка мне, Генерал, почему Иван Грозный убил своего сына?

– Чтобы спасти государство.

– Вот, видишь, а Лесник меня убеждает, что оба профиля должны быть одинаковыми – ясными и чистыми, как стеклышко.

– Какие профили?

– Человеческие.

Генерал откашлялся, его серые глаза посветлели.

– Откровенно говоря, Спас, я в профилях не разбираюсь. Я не художник и не фотограф. Я окончил две военные академии и могу командовать армией. Вот в картах я спец, только одного не могу понять, почему ты дом Караманчо набил картами, причем самых разных масштабов?

Они были уже в доме № 3. Действительно, в четырех верхних комнатах, побеленных и чисто вымытых, с занавесками на окнах и пустыми дверными проемами, как в Художественной галерее, было полно географических карт. Целую стену занимала карта мира, на другой стене висели карты континентов, а на остальных – карты разных стран: Кубы, Ганы, Гвинеи, Швейцарии, Замбии, Великобритании и Ирландии, Чили, Парагвая, Уругвая и Аргентины. Очень хорошие карты, советское издание, пояснил Спас, я записался в советском книжном магазине, чтобы мне их оставляли. Еще много карт будет выпущено. Сейчас жду, что придут карты Кореи, Бирмы и Австралии. С продавщицей я хорошо знаком, и она сказала, что ждут их на днях.

– Но я спрашиваю, зачем тебе эти карты? – сказал Генерал. – Мне кажется, что я нахожусь или в каюте океанского лайнера, или в отделе топографии, или в кабинете путешественника.

– Так я и есть путешественник, Генерал, <sup>иногда</sup> отозвался Спас. – Когда я слушаю новости или смотрю по телевизору „В мире и у нас“, чуть где что произойдет, я тут же прибегаю сюда и нахожу на карте, где это, и уже все точно знаю. Разве не для этого новости?

Генерал не ответил, только перевел дух: он написал в уме уже не меньше трехсот-четырехсот страниц о Спасе, но знал, что, даже написав еще тысячу, все равно не сможет сказать о нем самое главное. Колесо истории, колодцы, Иван Грозный, убивающий сына, география. Значит, внизу выращивает грибы, а наверху – карты, картины. Внизу – базис, наверху – надстройка! Генерал засмеялся:

– Ты, Спас, сколько жить собираешься?

– Не знаю, – невозмутимо ответил Спас. – Нет у меня четырех зубов, поставил два моста. Давление не проверяю, сердце у меня здоровое. А желудок, Генерал, может переварить и камни. Но вот что я тебе скажу – человек сначала умирает здесь! – И Спас показал на лоб.

– Где? – спросил Илларион.

– Здесь, – ответил Спас, постучав костяшкой пальца по лбу.

Теперь он разговаривал с Илларионом. Илларион вернулся с чемоданом и пустой корзиной. Они сидели в доме № 4 после того, как осмотрели Художественную галерею и Географический кабинет. Илларион, повесив нос, на кончике которого уже скапливалась капля, печально сидел на краешке венского стула, который дважды продавал Спасу вместе с гарнитуром, при этом себе в убыток – потеряв двадцать левов.

– Значит, я уже умер? – спросил Илларион в отчаянии.

– Нет, ты как вечный жид, Илларион.

– Какой еще жид?

– Да такой, чей дух бродит, как неприкаянный, не находя себе места. И ты тоже бродишь, не можешь найти себе места ни здесь, ни в городе. Почему ты вернулся с этой пустой корзиной?

– Я и сам не знаю, – растерянно ответил Илларион. – Когда ехал в город, отвез сыновьям два индюка, а теперь дай, думаю, возьму ее обратно. – Иллариона вновь охватило разочарование в своих сыновьях, он вспомнил их крикливых жен с их вечными жалобами на нехватку денег и обрадовался, что сейчас здесь, со Спасом, хотя и знал, что тот обязательно будет его задирать. – Моя корзина, Спас, всегда пустая, – добавил он.

Спас промолчал. Сотни раз он видел во сне Иллариона – с белыми крылышками мотылька. Мотылек летал легко и бесшумно в густоте сновидений. Сядь, Илларион, умолял его Спас, сядь хоть на несколько секунд, собери пыльцу, а потом улетай! Но Илларион все летал и летал, кружась словно в поисках другого цветка, других тычинок, но не садился, и Спас свыкся с мыслью, что его друг – большой белый мотылек, и часто вздыхал, сожалея его. Но относился к нему жестоко, издевался и насмехался, демонстрируя перед ним свою мудрость и превосходство. Он дважды покупал у него дом и мог еще много раз продавать его ему, каждый раз требуя некую сумму сверх цены – якобы на покрытие накладных расходов. Но это был уже другой вопрос: экономика и дружба – вещи разные.

Спас радовался, что Илларион вернулся, хотя прекрасно знал, что долго он здесь не задержится. Опять улетит белый мотылек, не привык он сидеть на одном месте. Оглядел его Спас с ног до головы: все та же на нем латаная-перелатаная фуфайка, старые выцветшие

брюки, туфли за девять пятьдесят, когда-то коричневые, а теперь небрежно намазанные черным гуталином, покрытые пылью. Эх, Илларион, Илларион, вздохнул про себя Спас, и ты не выкопал себе колодец, и ты не выжал свой собственный сок – так и уйдешь в мир иной, но что поделать – человек не меняется. Летай, летай с пустой корзиной, но в этот раз побудь здесь подольше! Почувствовав, что размяк, Спас прокашлялся.

– Выпьешь рюмочку ракии? – спросил он. – Из твоих слив, кюстендилских.

– Знаешь, что я не пью, – хмуро отказался Илларион, стало ему досадно из-за слив.

– Да ты сядь по-человечески! – ухмыльнулся Спас.

– Я этот стул из Румынии досюда на спине тащил! – вскинулся Илларион. – Весь гарнитур тащил на своем горбу!

– Ну да, на горбу! На сердце ты его тащил, Илларион, потому тебе до сих пор тяжело, но оставим это. Где ты думаешь остановиться?

Илларион взглянул на него, увидел жестокую непреклонность в его стальных глазах, увидел свой дом, превращенный в Художественную галерею, ухоженный сад, где все подвязано, подперто, каждый клочок земли использован по назначению, цементную дорожку с новыми ромбическими плитками, подрезанную лозу. Не пустит он меня жить в нижнюю комнату, решил он, не даст вернуться в мой собственный дом, кровопийца проклятый! Вид у Иллариона стал еще более унылым – ведь он мечтал о возвращении, на вокзал бежал бегом, сошел с поезда в Златаново, но это не беда – от Златаново до села всего три километра, если напрямик через Бугор. Увидев издали село, золотой крест на куполе церкви, горную гряду позади – темную,

величественную, почувствовал Илларион, как слезы подступили к глазам. – Опять я возвращаюсь к тебе – твой блудный сын, – прошептал он, обращаясь к селу, – прости меня, что пришел я снова с пустой корзиной. И бросился бегом к нему.

– Так где ты будешь спать, Илларион?

– Не знаю.

– У меня нет места, – сказал Спас. – Это верно, у меня семь домов, но шесть уже предназначены для разных целей, а седьмой я обставляю как гостиницу.

– Какую еще гостиницу? Для чего?

– Да мало ли для чего. Лесник говорит, может, нас памятником культуры объявят. Завтра иностранцы могут понаехать с фотоаппаратами: им очень нравятся старинные дома. Кто-нибудь решит и остаться на день-два, а я к этому готов!

– Капиталист ты, Спас! – крикнул Илларион. – Кровопийцей был – кровопийцей останешься! Людей нет, село умирает, а он – иностранцы с фотоаппаратами!

– Село, может, и умирает, но я-то жив. И пусть я буду готов, Илларион, пусть корзина у меня будет полной. Запас карман не тянет!

• Илларион встал, взял старый чемодан и пустую корзину, от всего этого его тошнило. С кончика носа, наконец, скатилась капля, долго собиравшаяся упасть. Уже смеркалось, и Иллариона охватило знакомое предвечернее настроение, когда ему хотелось плакать, жалеть себя за свое раздвоение, противоречивые желания, вечные сомнения и колебания. Спас заглянул в его душу, как в колодец, увидел м<sup>у</sup>ку и сожаление, но не дрогнул. Нет, Илларион, сказал он про себя, что посеешь, то пожнешь!

– Иди к Генералу, – произнес он вслух. – У него много комнат.

Вскипел Илларион, голос сорвался на визг:

– Значит, вот она такая, твоя душевная цель, а?

Спас, и глазом не моргнув, пояснил:

– Цель душевной цели, Илларион, – экономика. Если не веришь, спроси Лесника. Все, что делается для человека, опирается на нее.

– Для человека... – вздохнул Илларион. – Будто тебе так уж важен человек!..

– Ты прав, мне нет до него никакого дела! У меня график, почасовой график работы. Если хочешь, покажу.

– Не нужен мне твой график!

– Каждый час у меня запланирован, Илларион, – невозмутимо продолжал Спас. – Вот это время, что мы с тобой проговорили, придется вычестить. До вечера мне нужно выполнить еще восемь пунктов дневного плана, а потом буду смотреть видеозапись матча ЦСКА „Септемврийско знаме“ – „Левски-Спартак“. Если хочешь, приходи после ужина.

Илларион ничего не сказал. Взял свой старый чемодан и пустую корзину и вышел из своего бывшего дома – без дома и без мечты. Спас смотрел, как он удаляется по дорожке, как открывает дворовую калитку, махая белыми прозрачными крылышками. Не знал Илларион, что у него есть крылья, что он опять улетает и будет колебаться, где ему сесть, а крылья будут носить его во тьме вечера – долгого, бесконечного вечера его жизни. Спас дружелюбно усмехнулся: он не знает, что летит, сказал он себе, а на самом деле летит, то же и с мотыльком – разве ясно ему, что он летит и что он мотылек?

## СОДЕРЖАНИЕ

Три бочки . . . . .	5
Блудный сын . . . . .	10
Свадьба . . . . .	16
Лунная ночь . . . . .	25
Птичка . . . . .	32
Истина . . . . .	39
Земля . . . . .	45
Генерал . . . . .	55
Корни . . . . .	63
Посиделки . . . . .	73
„Счастья“ . . . . .	84
Начало . . . . .	91
Вечные времена . . . . .	102
Младенцы . . . . .	113
Лозунги . . . . .	122
Меньшинство . . . . .	133
Душа Лесника . . . . .	143
Бессловесность . . . . .	154
Домá Спаса . . . . .	164

### ВЕЧНЫЕ ВРЕМЕНА

Васил Попов

Редактор болгарского текста *Елизар Декало*  
Редактор перевода *Мая Качаунова*  
Художественный редактор *Скарлет Панчева*  
Технический редактор *Донки Алфандари*  
Корректор *Анатолий Нефедьев*

Формат бумаги 54x84/16. Печ. листов 11  
Государственная типография „Балкан“

31/95362-23231/5605-437-89



БИБЛИОТЕКА ● БОЛГАРИЯ ●

ББ

СОФИЯ ПРЕСС

